

СОСТАВИТЕЛЬ:

ВЛАДИМИР
МОРДУХОВИЧ

МАРИНА
ВОЛОВА

АЛЕКСАНДР
КОМАРОВ

ИРИНА
СМИРНОВА

СЕРГЕЙ
ИВАНОВ

ТАТЬЯНА
МИХАЙЛОВА

ВЛАДИСЛАВ
КАРАМАНСКИЙ

СЕРГЕЙ
ИВАНОВ

18+

ТАК НЕ БЫВАЕТ

АВГУСТ
СМИРНОВ

МАРИНА
ВОЛОВА

КОСЯКОВ
ИВАНОВ

СЕРГЕЙ
ИВАНОВ

СЕРГЕЙ
КАМАНСКИЙ

ЛОРА
БЕЛОВА

МАРИНА
ВОЛОВА

ПРОЕКТ TEXTUS

Annotation

В этой книге нет ни одной фантастической истории; сказки и без нас найдется кому сочинять. Авторы этого сборника – серьезные реалисты, пишут правду и только правду, ничего кроме правды. Однако правда наша обычно такова, что, зная ее, читатели обычно качают головой, укоризненно говорят: «Так не бывает», – и расходятся по домам, где кого-то ждет черная рука, кого-то – призрак прабабки в бельевом шкафу, кого-то – дружеская вечеринка, состоявшаяся четыре года назад, кого-то – северный ветер, заглянувший на огонек и уже успевший поставить чайник. Но об этом они уже никому не расскажут, потому что кому же хочется услышать в ответ: «Так не бывает».

А нам все равно.

Так [не] бывает

Составитель Макс Фрай

Лора Белоиван

Наследство

Вещи переносили уже в темноте. Мощный фонарь над соседскими воротами освещал чуть ли не полдеревни, но скорее мешал, чем помогал: возвращаясь к грузовику за коробками, приходилось щуриться или закрываться козырьком из ладоней. Усиленный отражателем луч хлестал по глазам, и еще несколько секунд нужно было приучать зрение к темноте крохотного, с блюдце размером, двора, в который едва удалось втиснуть Максов «Лансер»: капот машины нависал над тропинкой, ведущей к крыльцу, а свет из кухонного окошка стекал под колеса. Во двор выходили и два окна большой комнаты, но в ней не смогли включить лампочку: то ли перегорела, то ли выключатель поломался. Коробки ставили одна на другую прямо в коридоре, организовав там четыре башни. Работали очень быстро, очень четко, очень аккуратно и – почему-то – на цыпочках. Наверное, так работают воры: неслышно ступая, стараясь не разговаривать или перебрасываясь лишь короткими, сугубо по делу, фразами. Придержи. Здесь. Вот так. Сюда ставь. Когда все четыре башни стали одинакового роста, оказалось, что в кузове больше ничего нет.



Макс сразу сказал, что в город не поедет: останется ночевать в доме.

– Это ж теперь мой дом, так что, – сказал он.

Тоха и Серый разубеждать его не стали – не маленький. На его месте они бы тоже предпочли спать на коробках, но не ехать на ночевку к семейным корешам или, тем более, возвращаться в съемную квартиру, откуда уже вывез башни.

– Ну, звони.

– Ага, – кивнул Макс, – шашлык за мной.

– Ну еще бы.

– Давайте, до созвона.

– До созвона.

Макс стоя в проеме калитки и какое-то время наблюдал, как Тохин грузовик, разворачиваясь, ненадолго схлестнулся лучами фар с лучом соседского фонаря – сабли автомобильного света были острыми и тонкими, и их было две – они играючи победили фонарь, пронзили, распорили его толстый неуклюжий луч, но не стали добивать – бросили подранка, метнулись в сторону, царапнули чей-то забор, панибратски щекотнули небо и, посерьезнев, сосредоточились на дороге, а потом слились с ней. Макс завязал калитку проволокой и пошел домой. «Домой, – подумал он, огибая капот «Лансера», – надо же как».

В доме было две комнаты: большая, в которой не горел свет, и дальняя маленькая, в которой, как выяснилось, свет не горел тоже. Но зато она щедро освещалась недобитым лучом соседского прожектора: хоть книжки читай. Законного освещения вполне хватало, чтобы можно было в деталях рассмотреть весь интерьер комнаты: прямо напротив двери, у окна, железная кровать с облезлыми шишками; слева у стены шкаф-секретер – убудок, дитя мезальянса между советским сервантом и бюро дворянской фамилии; справа стол, застеленный клеенкой в горох. Бабка держала на этом столе ящички с рассадой, а дед хранил в секретере крючки и грузила. Поди, они до сих пор там лежат, в двух коробках из-под леденцов. Дед умер на этой кровати. Между рассадой и грузилами. Макс был еще маленький и, когда приезжал к бабке на выходные или на каникулы, все время боялся, что она уложит его на дедову кровать, но бабка стелила ему на раскладном кресле в зале. Макс не помнил, куда оно в конце концов делось: было и сплыло. Просто с какой-то поры стал ночевать на раскладушке. Раскладушки, кстати, тоже не видать.

Бабка прожила еще двадцать пять лет. За полгода до смерти стала видеть деда во всех мужчинах от пятнадцати до ста, а потом вдруг выздоровела на два дня, всех узнала, со всеми поздоровалась, расспросила о житье и последних событиях – и умерла в совершенно твердой памяти. Попрощавшись с бабкой, Макс простился и с этим домом: почему-то был уверен, что Господь – или кто там распоряжается душами и их имуществом – прибрав бабку, заодно отнял у него, Макса, право бывать в этом доме хотя бы изредка. Он был изумлен, когда нотариус сообщил ему, что бабка завещала дом именно ему. Не так уж и часто виделись в последние годы.

Макс постоял на пороге в маленькую комнату, потом шагнул было в темную большую, но передумал, развернулся и отправился во двор, в машину, спать. Умастившись на

отодвинутом и откинута переднем пассажирском сиденье – ноги в руль – прислушивался к ощущениям: тоскливо ли? Горько ли? Одиноко? – и слабо удивлялся, что вместо всего этого, ожидаемого, почти запланированного – чувствует только покой. И – пока не очень громко – голод. Но еды ни в одной из четырех башен не было, в бардачке «Лансера» могло завалиться какое-нибудь печенье, но не завалилось – да и черт с ним, и без печенья сойдет.

Проснулся внезапно. Ночь еще не кончилась. Его разбудил голос, сказавший доброжелательно, но твердо: «Завтра тоже спи тут». Было ясно, что голос приснился, так бывает иногда, когда просыпаешься вдруг от сказанной кем-то фразы, и этот кто-то – персонаж из сна, сюжет которого никогда не извлечь оттуда, где он остался. Несмотря на эту ясность, Макс приподнялся на локте и сквозь стекла машины оглядел двор. Двор был пуст. Посмотрел в боковое зеркало – тьма, заросли сорняков тенью вокруг багажника; никого. Попытался уснуть опять, но не получалось. Достал телефон, глянул время: пять утра. Вот-вот будет светать. Где-то вдали, а потом ближе, прокукарекали петухи. Можно было выходить на рыбалку. Если бы Макса хотя бы чуть-чуть интересовала рыбалка, он бы, может быть, на нее бы и вышел сейчас, зевая и ежась – как в детстве, когда дед поднимал его затемно и тащил с собой на лагуну; дед не спрашивал, нравится ли Максу рыбалка: в его, дедовом, мире все мальчишки должны были умирать от счастья, когда им дарят удочки и берут с собой рыбачить.

Как уснул второй раз, Макс не заметил.

Проснулся от духоты – солнце было уже совсем высоко, часы на телефоне показывали без четверти девять, хотелось пить, есть и в туалет – или в обратной последовательности, не важно: главное – быстро. И как-то уже надо устраиваться с вещами и вообще – лампочки заменить в комнатах или посмотреть, что там с проводкой.

Весь день прошел в суете. Съездил в продуктовый магазин, привез сухомятки и упаковку пива; вымыл в доме пол и окна, заменил лампочки, еще раз съездил в магазин – купил матрас, подушку, одеяло и два комплекта постельного белья; постелил матрас на полу большой комнаты (при бабке эта комната называлась залом), где из мебели был только пустой старый шкаф; в третий раз съездил в магазин – купил удлинитель и настольную лампу; соорудил возле матраса офис из настольной лампы и ноутбука – посмотрел на уют и решил, что это хорошо. До ночи еще оставались и время, и некоторые силы – Макс подошел к шкафу, прикинул, имеет ли смысл разбирать и выносить его прямо сейчас или отложить на завтра, – и решил отложить. Поужинал. Посмотрел какой-то детектив. Совсем уже было собравшись укладываться спать, вдруг вспомнил: «Завтра тоже спи тут». И, с сожалением поглядев на расстеленную на полу постель, отправился в машину.

В час, когда кричат петухи, а любители утренней рыбалки выходят из дому, Макс проснулся от фразы: «А им все похуй, понимаешь, да?» Сон не сразу отпустил его: вокруг фразы мгновенно образовался какой-то вполне осмысленный, но еще неплотный сюжет – внутри этого сюжета все было очень логично, хотя и досадно оттого, что им все похуй; Макс кивнул, соглашаясь с собеседником – мол, конечно, понимаю – и проснулся, не успев вытащить фабулу, которая распалась, растворилась в воздухе от кивка – оставив после себя лишь фразу про каких-то неведомых «их».

В тот день он опять не разобрал и не выбросил старый шкаф, про который почему-то решил, что непременно его разберет и выбросит – хотя шкаф и не мешал ему и не действовал на нервы: в конце концов, не в шкафу же умер дед, а на кровати в соседней комнате, ну так он, Макс, и не спал на той смертной кровати, а спал в машине уже две ночи, несмотря на уютный матрас на полу, возле ноутбука и настольной лампы, несмотря на одеяло, подушку и пахнущую текстильным принтом простыню. Макс строгал на кухонном столе сыр для ужиных бутербродов и решал, где ему спать сегодня, в машине, как бичу, или, как приличному человеку, на матрасе; хотелось спать на матрасе, но голос в предыдущем сне не дал добро на матрас, хотя и не повторил запрет, а лишь посетовал, что «им» – кому им? – «все похуй», что вроде бы не имело прямого отношения к ночевке ни в машине, ни на матрасе, но Макс почему-то знал, что решение спать на матрасе голос бы не одобрил. «Да им все похуй», – сказал Макс вслух и понес тарелку с бутербродами к матрасу.

Он уснул, посмотрев два фильма целиком и не досмотрев третий; отключился, не захлопнув ноутбук, поэтому фраза, услышанная им во сне этой ночью, вплелась в сюжет с ноутбуком – Максиму было сказано, что «в деревне всегда надо закрывать», и он размышлял прямо там, во сне, почему в Овчарове такие порядки и что стало причиной тому, что здесь непременно надо держать неиспользуемый ноутбук в закрытом виде. В эту ночь голос не разбудил его. Но, что еще больше порадовало Макса, голос не стал ругать его за то, что он, Макс, без разрешения ночевал на матрасе. Макс, чтобы продемонстрировать голосу миролюбие, с готовностью пообещал, что в следующий раз обязательно сперва закроет ноутбук и только после этого уснет.

Четвертый день прошел в заботах по удалению прочь дедова одра. Макс занялся этой операцией сразу после завтрака, но провозился весь день, потому что одр заржавел, и все три его составляющие прикипели друг к другу насмерть. Макс колотил по железякам найденной в сарае кувалдой, ездил в автомагазин за жидкостью, разъедающую ржавчину, опять колотил кувалдой – а потом, кое-как успев убрать ноги из-под обрушившейся железной рамы с панцирной сеткой, долго смотрел на мощную рухлядь, напоминающую обломки авиакатастрофы. А потом выволакивал все это во двор, устанавливал стоймя к глухой стене дома – надо будет опять Тоху с грузовиком просить, чтобы отвезти в металлолом – и всерьез размышлял над тем, как отнесется дед к тому, что он поломал его кровать.

В ночь с четвертых на пятые сутки Максиму приснился отчетливый и складный производственный сон – про учебную тревогу на судне, где он должен был заводить двигатель на шлюпке по правому борту – и в этом сне знакомый уже голос сказал совершенно не приделанную к сюжету фразу: «Тебе бы все сладкое да сладкое, а суп кто жрать будет».

Макс вряд ли бы смог объяснить, зачем он стал записывать эти фразы из снов. Вроде бы и ясно: чтобы не забыть. Но в чем необходимость этого запоминания, Макс не думал: просто купил тетрадку и записал: «Тебе бы все сладкое да сладкое, а суп кто жрать будет». Фраза казалась ему знакомой, она вполне могла быть адресованной ему в детстве, но бабушка бы не сказала слово «жрать», а дед совершенно не касался вопросов детского питания. Да и голос во сне был чужим.

После того, как из маленькой комнаты была изъята дедова кровать, комната оказалась не

такой уж и маленькой.

В бытовых хлопотах прошла вся первая неделя. Иногда Максу казалось, что он живет в старом доме гораздо дольше, а иногда – как будто лишь позавчера приехал. До официального вступления в наследство было еще четыре месяца, но Макс, уже обладая домом де-факто, не связывал с предстоящим статусом де-юре никаких дополнительных перемен. Каждый день он возился по хозяйству – что-то мыл, что-то белил, что-то красил, менял старые провода, рассыпающиеся в руках от ветхости – и к вечеру валился от усталости. Усталость его была умиротворенной, сытой, гладкой как кот, она мягкими лапами запрыгивала на него, когда он включал какой-нибудь детектив – и тут же засыпал. В тетрадке для фраз последовательно появились: 5) «Главное, не надо торопиться, все торопыги как торопыги, а ты нет»; 6) «На севере шашлык очень хорошо»; 7) «Когда черепахи придут, не спрашивай их, откуда».

В субботу Макс опять подступился к шкафу и опять не стал разбирать его.

Эти два навязчивых желания – разобрать шкаф и оставить его на месте – сменяли друг друга так часто, что Макс не успевал принять решение. Шкаф – огромный, трехстворчатый, пустой и странно уютный внутри – как будто врос в пол. Макс несколько раз примеривался к его весу: налегал плечом и пытался сдвинуть допотопную мебелину с места, но она ни разу не шелохнулась. В тот день, накануне приезда друзей, Макс все-таки решил разобрать шкаф, чтобы вывезти его на Тохинем грузовике – вместе с останками дедова корабля, на котором тот переплыл Стикс. Макс честно подошел к шкафу с отвертками и – на всякий случай – с пассатижами, потянул за ручку дверцы и замер в крайнем изумлении: дверца не открывалась. Ни одна, ни другая, ни третья. Шкаф был заперт.

Макс поочередно провел ладонью по всем трем дверцам, как будто надеялся нащупать замочную скважину, но панели были такими же гладкими на ощупь, как и на взгляд.

Навстречу Антону и Серому он вышел с отвертками в обеих руках, долго не мог сообразить, куда их пристроить, в итоге положил прямо на крыльцо и сообщил друзьям, что шкаф выбрасывать не будет.

Кровать да, а шкаф пока нет.

Без кровати, прислоненной к стене дома, как будто стало легче дышать. Макс обошел свое имение, присматривая место для новенького мангала – такое, чтобы огонь от костра не опалил ветки старых яблонь. Такое место нашлось в десятке метров от задней стены дома. Макс установил мангал, настрогал щепок и мимоходом сообразил, что случайно выполнил рекомендацию голоса из своего сна: костровую площадку он, оказывается, организовал на севере. Что там еще было? Черепахи-торопыги?

Черепахи пришли на свет угасающего костра, за полночь; сперва одна – та была покрупнее, поамбалистее; за нею другая: помельче, пожиже в лапах и с более тонкой шеей. Они вышли из сорных зарослей, амбал остановился и вытянул мощную шею, как будто принюхиваясь к остаточному запаху жареного мяса; жидкая черепаха шла след-в-след и, не сбавляя скорости, ткнулась в хвост товарища. Макс засмеялся и протянул руку, чтобы толкнуть Тоху – мол, посмотри, что это, черепахи откуда-то, – но в тот же момент, когда рука

его натолкнулась на пустоту, он вспомнил, что друзья уехали еще в сумерки, а сам он вернулся к костру и задремал.

Черепашки между тем двинулись в путь. Амбал уверенно пошел в обход костровища, держась кромки травы, а его более слабый друг следовал за ним, никак не проявляя интереса к местности. Макс провожал их взглядом до тех пор, пока они не скрылись за границей света, выкурил две сигареты, затушил костер из старой бабкиной лейки и пошел в дом, почти наверняка зная, что получит нагоняй за позднее возвращение.

Дед и бабушка сидели за пустым кухонным столом, как сидели всегда, когда он прибегал домой с опозданием в добрые пару часов.

– Баб, деда, я тут был, за домом, уснул просто нечаянно, – сказал Макс, – а вы от...

– Тссс, – дед приложил палец к губам, – тихо.

– Да, Максик, ты чего шумишь-то, – сказала бабушка, – ночь ведь на дворе.

Макс остановился в дверях, не решаясь присесть за стол рядом с ними, и от этой невозможной возможности вдруг сделалось горячо глазам. Тут же вспомнил про кровать, вывезенную в металлолом.

– Дед, я твою кровать выбросил, – сказал он, – ты прости.

– Ну, выбросил и выбросил, – ответил дед, – ничего.

– А спишь на чем? – спросила бабушка, – раскладушку-то твою суханским отдали.

– Матрас купил, – сказал Макс и зачем-то уточнил: с пружинами.

Помолчали.

– Ну, мы пойдем пока, – сказал наконец дед и встал с табуретки.

Бабушка поднялась следом.

Макс посторонился, чтобы пропустить их в дверь на улицу, но они направились в зал: первым шел дед, за ним семенила бабушка. Макс, помедлив всего секунду, тронулся вслед за ними, но отстал непоправимо, безнадежно – когда он вошел в большую комнату, то едва лишь успел заметить, как закрывается за бабушкой крайняя, левая дверца шкафа. Он в два шага пересек комнату и рванул дверцу на себя: в шкафу было пусто. Как всегда.

Он еще несколько раз встречался – в саду, или на дорожке к дому, или возле калитки – с черепашками, но каждый раз они делали вид, что не узнают его.

А потом настала зима, и Макс юридически вступил в права наследования шкафом. До этого момента прошло примерно две трети тетради, а потом она остановилась. Никаких фраз больше не было. Никаких черепах, никаких приказов, рекомендаций и тонких наблюдений.

Макс очень дорожит этой тетрадью. Он давно выучил ее наизусть, время от времени читая ее перед сном: наугад, с любой страницы, хоть с начала в конец, хоть с конца в начало. И он мог бы поклясться, что одной фразы, написанной вроде бы его рукой, он не писал никогда. Ее вообще не было в той тетради, но, тем не менее, вот она; и можно было

попытаться сделать вид, что ее нету, или что в ней нет смысла, или еще что-нибудь, – но Макс понимает, что смысла нет в самообмане, а в этой фразе что ни слово, то смысл, и каждый раз, читая эту фразу, он чувствует, как становится горячо глазам.

Слов в ней, собственно, всего-ничего: «Не спеши итти в левую дверцу».

Он, Макс, написал бы: «идти».

Ася Датнова

Спиритус

Дед Иван варил самогон на костре в скороварке, лежа на поляне в саду старого материного дома – сад густо заплел колючий терн, и никакой чужой не стал бы пробираться сквозь чащу, чтобы поймать деда, окруженного запахом дыма и браги. Тогда за это сажали. По улицам ходил милиционер Потап по прозвищу Плакся, приняхивался, входил в дом, отбирал аппарат, брал взятку продуктом. Каждый варил себе свой, кислый, злой, бормотуху выпивали, не давая дойти. Все пили, и боярку из аптеки, и метиловый, многие оставались живы. Потом снова в сельпо появились бутылки, Потап дослужился, ушел в администрацию. Продавали водку «Стрелецкая», где на этикетке был нарисован стрелец, в кафтане, с алебардой. В магазине просили: «Дайте две Плакси с шашкой».



Мутным самогон никогда не был, все смеялись, глядя телефильмы, в которых на столе стоит мутно-молочная, большая бутылка – такой бывает только у плохой, неряшливой хозяйки, когда брага сильно кипит.

В новые времена городской правнук Ивана Алексей, приехав в деревню, тоже стал гнать. За компанию с соседом, из баловства, достали с чердака старый аппарат из бидона с молочной фермы, с приваренным змеевиком, его остужали проточной водой из шланга. Потом съездил на поле, где бездомный жил зимой и летом в вагончике, сторожа поляну с металлоломом, купил яркий, красный огнетушитель и сделал себе аппарат, назвал «Космос». Ставил на сахаре. Со всей деревни несли ему бутылки, низачем хранящиеся в сараях – полуведерные, трехведерные, сделанные стеклотрубами еще при царе, легкие и косенькие, тяжелые и голубоватые советских времен, зеленые, синие. Приносил, что получалось, на все праздники – приличный, душевно сидели, голова не болела, только обижались, что «головы» и «хвосты» выливал или тратил на разжижку. Жалко было, это бы тоже выпили. Приезжали городские гости на экзотику, увозили в город канистрами. Стал фильтровать, перепробовал древесный уголь, уголь активированный, фильтры противогазов, фильтр для аквариума.

Из голого сахара варить ему скоро показалось скучно, пробовал настаивать – горький терн, кровавая вишня. Чувствовался ему лишний привкус. Сделал сухопарник, отбирал только запахи, пошли в прозрачное ароматы укропа, аниса. Решил, мало градуса. Заказал новенький хромированный бак, со стеклянной колонной, в которой вода кружилась на металлических тарелочках, как инсталляция в музее современных искусств, взбираясь выше и выше. Спирт сам по себе тоже показался скучным, голым, хотя и сильным. Бродил по полям, собирал полынь во время цветения. Добавлял лимонные корки, то корень хрена, молодые веточки сосен, душицу. Ставил на яблоках, собранных на заре в августе. Смешивал, перегонял по три раза, прятал в погреб, зарывал на год в землю. Коптил на ольхе пророщенный ячмень, варил древесину дуба. Приезжать к нему перестали. Деревенские к его продукту привыкли, другого и пить не хотели, одно не очень нравилось, что бывало, сидели за бутылкой вроде со знакомым, ночь беседовали, а потом глядь, у собутыльника даже рта нет и головы.

Сам перестал совсем пить – попробует, сморщится, говорит, неинтересно, все я узнал, а хочется теперь только очень хороший продукт, на особый случай. Запирался в доме, зарастающем терном и хмелем, на недели, по улице ползли запахи, туман. Выносил, угощал для пробы. Что бы там ни было, все пили. Некоторые после пели для летучих мышей, купались в полнолуние, танцевали голыми для рыб. Он спрашивал, как было, и все записывал. Рассказывали старательно, что эту выпьешь – звезды гаснут, все вращается, чернота и холод, летишь куда-то, а другую – вспомнишь что-нибудь из детства, сидишь плачешь, так себя жалко. Сердился, говорил, не очень чистый продукт, на дне осадок. А на вкус, говорили, очень хорошо, хвалили, пьется легко, как вода, иногда как воздух, и на языке вроде как пыльный дождь. Или мед на солнце, только ты сам как пчела. Просили по-человечески – хватит, лучше уже не надо, и так Серый спяну на тот берег по воде перешел. А он все – нет, еще не интересно, скучновато.

Пыхнуло ночью что-то, думали, пожар, прибежали – ни дома, ни бутылей, ни аппарата, ни его самого. Но сад стоит.

С этих пор не то что бражка кипеть, у хозяек даже молоко скисать перестало. Говорили, всю бродильную силу местности на одного себя истратил. Так только, если ягоды поздним летом спекутся на жаре на кустах, почти забродят, кто-нибудь пожует их горячими, чтобы вспомнить.

А потом в саду на поляне нашли все-таки одну зарытую бутылку. Выкопали, обтерли, даже нюхали – непонятно, на вид цвета местной ночи. Пахнет торфом. Пробовать побоялись

– кто его знает, теперь, из какой это партии – вдруг из последней, удавшейся, на особый случай.

Ася Датнова

Нигде никто Оксана

Горячий, носатый, он много смеялся, махал руками – в городе лютый холод, ему скоро ехать в Индию, уже весь был устремлен и не здесь – уезжал туда каждый год. Скоро сам стал похож на индуса, высох, потемнел. Конечно, йога, сурья, веганство. Много безделья. Оксана помалкивала. Зачем не есть животных, когда они жрут друг друга, микробы, бактерии. Звал с собой, все знаю, все покажу, сэкономим, она хотела, но, может, не проживешь зимы, весна и лето не будут сбивать с ног. Хотя она все время мерзла. Вежливо встречалась с ним в Джаганнате, ела острый чечевичный суп и выходила покурить на мороз. Нравилось смотреть на серебристое облако пара. «Когда бросишь? Когда займешься собой? Дыхательные упражнения! Вот у меня была випасана так випасана! Я целые сутки потом блевал».

Ей почти нравилось в заведениях, пропахших тяжелыми благовониями, свечным воском, все в амулетах, золоте, красном и синем, как крик, чужое. После еды пошли на сеанс реверсивного гипноза – он уже был, вдохновился, хотел узнать про все свои перерождения и карму. Она сомневалась и насчет множественности жизней, и насчет реальности путешествий. И всегда они узнавали себя Клеопатрами, Марками Аврелиями, на худой конец – Станиславским или фрейлиной при царской фамилии, викингом, одетым менее достоверно, чем в Голливуде, но никогда никто не рассказывал, что в прошлой жизни, надо же, был управдомом или вожатым трамвая, страдавшим катаром и лечившимся на водах в Сочи. Быть может, управдомы не перерождались. Но все-таки что-то ей надо было делать с собой, что-то надо. Всегда готовые поддержать подруги уже устали и были в растерянности, пытаюсь выудить что-нибудь из ее жалоб, за что можно было бы зацепиться и умно ответить. Но трудно понять то, чего человек сам не знает. Грустно, и все.

Минус двадцать, влажность, ветер. Жесткий снег, забрызганный грязью, серый, все же посверкивал острыми искрами, особенно отвратительный в желтом свете фонарей, разлившимся по сугробам, как мутное масло из опрокинутой бутылки. Хорошо было в «Облаках» – тепло, душно, и хотя просили снять обувь, но дали думочки и пледы. В группе было человек десять – глядя на них, Оксана не могла придумать, кто они, чем занимаются и почему пришли – коренастый мужичок в темном пиджаке – водитель? Строитель? Развелся? Несколько девушек разной комплекции, свитерки, джинсы. Одна в цветных юбках, с розовой косичкой. Очень худой юноша... неважно. Завернулась в плед, легла и стала глядеть в потолок. Хотелось пригреться и поспать после обеда.

Ведущая опоздала. Брюнетка, брови, хриплый голос, назвала себя психологом – ну, это вряд ли. Включила музыку на старом магнитофоне. Сказала, что будет проводником. Начала отсчет, попросила спускаться по воображаемым ступенькам, потом что-то про золотой поток... песок... поток. Дотерпеть до конца. Может, это как сон, разговор с подсознанием, потом дешифруем.

И вдруг увидела снег.

Она тоже не была управдомом, ни вагоновожатой – она вообще не была человеком.

У него не было тела, не было формы, оно не ело, не ощущало, не могло умереть. Оно жило в пещере на заснеженных горах, поросших лесом. В лунные ночи свет проникал через щели вверху, и оно тогда подлетало повыше и смотрело на луну – тогда его почти форма была почти видна и слегка серебрилась, как сгусток пара на морозе. Очень старое, человеки, редко приходившие к пещере с дарами из нижней деревни, несколько раз меняли свой вид, одежды. Но не присматривалось – все равно. Равнодушие. Основным его занятием был снег. Надо устроить снегопад. Оно перемещалось в лесу. Когда находило труп лисы, с кровью из застывшей пасти, птицы или замерзшего охотника с остекленевшими глазами – оно долго смотрело, а потом равномерно покрывало их тела, морды, мех, перья, лица, глаза инеем. Это было красиво – инеем. С ним гораздо лучше.

Потом однажды этот. Черный жесткий волос, узкие глаза. Он рисовал. Черным по белому. Оно с ним ходило. Не убивать. Или просто тоже смотрел. Рисовал, сосна, иглы. Хребет горы. Красиво. У белой лисы есть черная лиса.

Сначала он не очень. Показать. Непонятно как, но получилось. И тогда оно всегда с ним ходило, не надо инеем – никто раньше не видел. Хорошо понимал. Стал лучше. Очень хорошо.

Оно когда с ним ходило – как будто начало потом чувствовать немного.

Рисовали вид с горы на нижние горы в соснах. Старый стал, волос белый. Оно висело над пропастью, показывало. Это был рисунок самый лучший, он сохранится. И вдруг открылась прореха – и туда засасывало, совсем втянуло быстро, оно успело посмотреть напоследок – а он тоже смотрел, и было ясно, что он глазами увидел. Оно подумало – мы что, разве тоже умираем? Но это было не больно. Грустно немного. Зачем?

Но оно все равно не умерло. Оно перешло, миры – тусклые, сияющие, большие, маленькие. Золотые в синей темноте. Они так не делали, обычно нельзя, но оно взяло свое грустно – все, что у него было – и смогло с ним опуститься к человекам. Больше не показывать, а самому. Так хочется.

– Эй, ты где?

– Что там в ваших буддизмах говорят, – спросила Оксана, одеваясь, – бывает, что типа духи перерождаются в человеческом мире? Я не разбираюсь.

Он тоже не разобрался.

– Я видел, что я был викингом, – кричал он, – меня убили в живот, и вот, теперь, конечно, проблемы с кишечником. А ты кем была?

– Никем, – поправилась, – ничего не видела.

Вышли на улицу, было еще морозней, двенадцатый час.

– Пожалуй, я не поеду. Что-то... Вспомнила, есть срочные дела. И начну рисовать, – сказала она. – Давно хотела, знаешь. Сначала – снег и ветки. И думаю, мне надо подобрать нескольких котиков. Да, думаю, нужны животные, для Москвы котики сойдут – пусть им будет тепло.

– С ума сошла. Только не тащи в дом, – как вегетарианец, он не очень любил животных, – на кого оставишь, а как же Индия?

– ...может быть, удастся раздобыть ворону, хотя это сложнее, бездомная ворона... Черная, белая. Что касается людей...

– Уверена, еще четыре месяца в этом дубаке?

Как жалко, он думал, уговорил – одному все же скучновато, и ему нравились ее глаза – голубые, светлые, почти белые. Кажется. Не смог сразу проверить – она зажмурилась и принюхалась.

– Ничего, сейчас станет теплее. А там будет видно.

Пока дошли до метро – градусник и правда пополз вверх и сразу пошел снег, мягкий, белый, довольно, он подумал, даже приятный.



Татьяна Замировская

Тот кто грустит на Бликер-стрит

Любовь моя, я пишу тебе из сумасшедшей старухи, в которую я пришла поработать, как в Старбакс. И там ровно такая же очередь: такая же долгая, как в Старбакс, и такая же сумасшедшая, как старуха. Она часами сидит на скамейке на Абингдон-сквер в самом маленьком парке в городе, и крошит голубей. Вокруг нее на подминающихся ножках скачет влажный хлеб, напитанный кровью и утробным воркованием. Это знание разрывает меня на липкие перья, будто я трепещущий голубь в ее пальцах, но без необязательного понимания данной пищевой инверсии или перверсии пребывание мое в старухе неполное, невозможное и ложное – лишь дрожь в правой ноге или похолодание хребта, а хребтом с моей задачей не справишься. Каждое утро я хожу в старуху, будто в писчий храм, и сегодня она у меня сделала успех, нараспев исчертив рекламную газетную рябь марокканской вязью – еще не почерк, но уже не одержимость неясностью, ненавижу быть неясностью, неясностью, ненастьем. Тут бы и остановиться: слабость, глоссолалия, аллитерация как тень иллитерации самой старухи (поверь, она сама удивлена открывшимся способностям; умение же рвать голубя на переливающиеся фрагменты сверхгалантом она почему-то не считает). Но это уже которая по счету попытка. До этого я пыталась писать тебе из собаки, будто из подводной лодки, но во всякой собаке я затопленный подводник, наощупь пытающийся нацарапать успокоительное мироточение прощания, прощения, отмщения не на стене скорей, а не преграде или перегородке. Собака плохой сосуд, пишу я тебе из сумасшедшей старухи невозможностью артикуляции плавсредства, и ненавижу ее за эти лопнувшие сосуды в старческой ее голове, за эту мою таблеточную подъязычность, безъязычие, vessel, lesser. Тут стоп.

Ненастье, случившееся со мною пару недель назад. Счастье прочь. Тут разорвано. Точность: ровно четырнадцать дней, кому я лгу своей небрежной парой, если тот день теперь как татуировка поверх всего – тринадцатое сентября, день, которого нет в календарях.

Меня ударило дверью вагона, когда я вбегала в поезд метро, разобранная на части / взвинченная/ хрупко-остроконечная, как очиненный архитекторский грифель, – точка, слом. Случилось то, что раньше снилось мне как невероятное, страшное и возможное – я поехала дальше в вагоне, а тело мое осталось лежать на платформе, ударившись о нее головой. Я успела подумать: желтые шары. Не знаю, почему я подумала про желтые шары. Да, это плохой жанр. Между собой и собой мы со мной его, этот жанр, называли «Я умер, и всем теперь стыдно про это читать». По ту сторону этого жанра, выходит, желтые шары – последнее, с чем соприкоснулась моя голова до того, как отпустить меня посещать старбакс старухи с ее голубиным крошевом. А читатель у меня только один, и стыд ему неведом.

Дальше все было как было, я ничего не пропускаю, все помню. Вышла на ближайшей станции, побежала обратно. Скорая, все как положено: айфон прикладывают к большому пальцу правой руки, и я кричу им, не надо, прошу, не надо, там ложные контакты, но кто меня услышит? Лучше бы я сгорела. Тем более, что человек как правило сгорает вместе с айфоном. Или таким, как мы со мной, некурящим параноикам, необходимо носить с собой

зажигалку, чтобы на случай, когда есть свободная минута до неминуемой смерти, потратить ее всю целиком на большой палец правой руки.

Потом тоже честно все: в больнице пришла в себя, но ничего не помнит, сидит в белом, как муляж прибрежной птицы. Ест, пьет, задает вопросы. Я сижу рядом. Как в нее вернуться, не понимаю. Рассказываю схематично. Важна точность. Тут будет четко, как камни выплевывать: вот уже выросла целая горка леденцовых мшистых гладышей.

Я навещаю ее регулярно, но сил никаких нет, и как ей стать, не представляю. Манеры вроде бы те, интонации узнаю, но как туда попасть, неясно: она отдельно. Гуляю много последнее время, тренируюсь, вот стала к бабке ходить, бабка отлично получается, как видишь, покорна мне, как внутриутробный стилус, которым я себя в некоторые моменты представляю, задумываясь о том, что и кто теперь я. Опять же, дети до двух лет получаются отлично, особенно бессловесные. Болтливые билингвы обычно запертый гараж, за которым что-то надрывно пыхтит и вот-вот выломает стальную дверь, но тихие, молчаливые – это мой дом и прибежище; но какие же ватные, валкие у них лапки, эти пухлые булочные валики, липкие пышечки. Зато попадаешь туда моментально – это как учиться кататься на лонгборде. Запрыгнуть, пока он движется, и сразу же продолжить отталкиваться. Падаешь. Падаешь. Падаешь. Тридцать раз падаешь, прыгиваешь, срыгиваешь собой в эту одуванчиковую пыль, потом едешь. С бабкой тяжелее, потому что она не движущийся, а как бы стоящий на песчаной равнине лонгборд, но все равно необходимо разбежаться, запрыгивать и толкать. И дальше тоже едет, только колес у нее как будто нет, поэтому тяжело.

Любовь моя, хочу написать тебе через бабку, чтобы ты приехал и забрал меня из больницы, я обязуюсь тебя узнать, хотя кого она может узнать, она же никого не помнит, и все время пытается позвонить тому, другому, но я будто хватаю ее за руку и этот приступ ложной памяти выпускает ее из объятий. Я не хочу, чтобы ее забирал тот, другой. Имени его я не помню, но ты вряд ли бы его забыл, ты вряд ли это забыл бы, поэтому приезжай и забирай обратно, я самый крошечный парк в этом городе, меня меньше квадратного километра пространства, и оно все твое за вычетом раскрошенных размокших голубей, которые схлынут, как коллоидный кровяной отлив, как только ты ступишь на эту священную территорию. Если ты боишься, что не отдадут, не выпишут, не поверят, уверяю тебя, все возможно – если подумать, я пишу это тебе фактически не только из бабки уже, но в некотором смысле и из главврача, и из парочки медсестер, самых немногословных. Протиснуться в кого-нибудь из них, как в заклинившую анисовой ржавью дверцу домашнего бара, на пару спасительных минут мне не составит труда, хотя более кровавого, отвратно составленного труда видеть и испытывать мне еще не доводилось. Хлеб, которому нас скоро наспех нарвут этими черными уличными руками, еще не испекли, поэтому ничего не бойся.

* * *

Ну и вот, короче, смотри. Я подхожу к этой бабке. Маленький сквер в самом начале Бликер-стрит, не знал даже, что он там есть, три дерева, вот и весь парк. Действительно, облеплена голубями, как известковая статуя. Сразу говорит: я ясновидящая, медиум, я всем

такие письма рассылаю, знаешь сколько у меня таких, как вы, сотку гони. Я ей даю сотку, вдруг еще что скажет. Говорит, она в больнице сидит ждет. Адрес дает, я поехал.

Да, забрал, как-то удалось договориться, все почему-то мне поверили, но сама будто не узнала. Но пошла со мной, сразу пошла. На себя не похожа. Говорит так, как будто не до конца ожила. Все там не до конца, не знаю. Онемело все, говорит, как будто рука отнялась, только не рука, а другое. Тело чувствую, говорит, душу нет, надо помассировать, может, вернется кровь, ушла вся кровь. Плачет, пытается вспомнить, повторяет, что где-то меня видела. Спим в обнимку, но во сне не плачет, улыбается.

К бабке ходил, но она, сука, все время сотку требует. Голуби эти еще пристают, клюются, лезут на голову, свисают с шеи, как больные родственники.

Да нет, часто домой просится, плачет, пару раз с моего телефона звонила этому и говорила, что сбежала из больницы, но не понимает куда, просит приехать и забрать. Да нет, какая полиция, зачем, он, наверное, даже рад, что так вышло. Не понимаю, никогда не любила меня раньше, да и теперь не любит, я ее перед сном обнимаю, а она отталкивает и плачет. Спрашиваю, помнит ли что-нибудь, но говорит, что этого помнит, а меня нет, и от этого ей еще хуже. Ест все, что я приготовлю. Хотя я раньше никогда не готовил, но подумал, что раз она не помнит меня, то и не помнит, что я не умею готовить. Этот перезвонил потом, узнал меня, говорит: все ясно. Надо будет к нему потом за вещами заехать или бабку послать, за сотку, да.

Нет, не врет. Но так не бывает. Бабка потом еще письмо мне отдала, говорит, давай еще сотку, тут тебе записка на упаковочной бумаге из помойки шведского магазина за углом. Письмо душераздирающее, но да, это точно от нее. И тошно от нее, ну. Мучается, конечно. Мозг, пишет, бабкин, старый, никудышный, все там по накатанной, все эти колеи, борозды, повороты – тяжело внятно выразаться поэтому.

* * *

Любовь моя, спасибо тебе за все, что я до сих пор не могу ни принять, ни осознать; и снова я пишу тебе из этой бездонной, как водоворот, перенаселенной бабки. А ведь после всего, что так и не случилось здесь между нашими влажными душами, так мечталось написать резвое и скачущее по гулким чугунным улицам, как мяч, из собаки, из ручья, из воробья, ведь воробей здесь иной как категория, как пятеро, семеро воробьев, вся микропопуляция воробьев самого крошечного парка в городе. Воробья не нарвать, не крошить, как ни пытайся, он ведь сам как кровь течет сквозь пальцы. Этими пальцами и пишу тебе внеочередное, и прости, что такое разорительное, мой старбакс преступен и отвратителен, и было бы проще написать тебе из пистолета, но слухи о вседоступности спонтанных пулевых ранений здесь сильно преувеличены. Я мечтала написать из напуганных иностранных студенток Новой Школы, испытывающих что-то вроде лингвистического шока, языкового заикания, вирусного грассирования – но дальше пары строк дело не дошло. Студентка моя безмозгла, как весло, которым хочется огреть ее по бархатному загривку,

кормовой голубь мой безрук и пуглив, а податливая подлодка веселой белой собаки ловка лишь в поимке чугунного мяча из давно забытого мной зачина этого письма; крыса моя на удивление удачно оснащена ловкими, будто сувенирными пергаментными ладошками, но вложить в них резвое лезвие грифеля мне все же не под силу. Что до енота моего, то енот нынешних широт не мой: разумом он нынче значительно превосходит пороговое двухлетнее дитя, а внутренний тезаурус его так шокирующе развит, что проникновение в енота невозможно, как в большинство иных невидимых городских школьников. Как жаль, что мы с тобой, любовь моя, наконец-то встретились навсегда именно там, где меня во мне почти не осталось, но лишь выжатая, выкорчеванная из собственного сознания, я осознаю, насколько счастлива быть здесь с тобой, пусть и не здесь, пусть и не быть. Печально, но совсем не страшно. Вчера ночью, чтобы сэкономить тебе сотню, я пыталась написать тебе из тебя, но ты – как всегда! – тут же нежно выдавил меня из себя, как капсулу. Твое упрямство меня восхищает, пускай я вижу это лишь из собаки, из крысы, из дерева, из кричащего страшным воем китайского младенца. Ты так и будешь выдавливать меня из себя по капсуле, как отвагу, как осторожность, и мне в тебя не войти, но вдруг когда-нибудь выйдет наоборот, и я буду сидеть рядом? К тому другому, имени чьего я не помню – видимо, оно не передается с фатальным ударом двери и чугуна по голове – прошу, не отпускай ее – будет биться, но ты держи, ведь я всей своей широковокзальной, многонациональной бабкой люблю тебя, всем голубем, всей собакой, и даже та коричневая крыса, что шла к тебе вчера по проводам, искрясь в электрических переливах закатного света, тоже была я. Оставайся, мы будем любить тебя всем городом, все равно у меня пока что больше не получается никуда проникнуть. Хотя все это временно, поверь – и ее, наш беспамятный полупрозрачный пакетик, мы непременно вскроем, как квартиру, вскроем и обчистим. Она будет наша, мы ее завоюем в конце концов – как ты мне сам однажды сказал, это всего лишь туловище. Мы с тобой ключ, и мы же оковы. Не давай больше денег этой старухе, я хочу перейти на парки побольше, этот треугольник из куста и чугуна мне жмет, и я уже подыскала себе неплохого голубино-го деда, похожего на благополучно состарившегося, не умершего Фрэнка Заппу. Он сидит на Вашингтон-сквер и его легко узнать по резкому отсутствию толпы вокруг. Помни, ты здесь не для того, чтобы меня спасти, меня все равно не спасти. Считай, что мы с тобой проводим мысленный эксперимент, но формулировать его мне нечем.

* * *

Ну что, снял пока квартиру, вывожу ее в парки гулять. Улыбается, крошит булку. К ней, знаешь, белочки всякие сползаются, собаки подходят, птицы слетаются всякие. Как Белоснежка, блять. Я тому другому позвонил потом сам, но он говорит, что не нужно, не хочет видеть, но может подвезти документы, потому что страховку можно получить или что-то такое, в суд подать, это важно, говорит, огромные деньги в перспективе, ну или он даже сам подаст, так удобнее. Иногда что-то вспоминает, да, но нечасто. Однажды сказала: шолтые шары, шол-ты-е, и я вспомнил, что это из письма, поцеловал ее, но она сразу строго так: кто ты? – забыла сразу. Когда вспоминает, лучше не прикасаться. Еще как-то стащила у меня зажигалку и подпалила себе подушечки пальцев, до пузырей, а я не успел переписать контакты с ее телефона, теперь все. Код не помнит, конечно, ты что. Да, получше. Говорит, пусто внутри, но хорошо, что я рядом. Если назовешь свое имя, назовет тебя по имени. Я хочу

собаку купить или что-нибудь такое вроде собаки, пусть у нее будет, она к животным тянется и они к ней идут отовсюду, как на почту, в очередь становятся и ждут. Иногда у меня в голове что-то шелкает, и тогда она тянется ко мне, будто я сам животное на бесконечном поводке – но это на секунд десять, не больше. На Абингдон-сквер я больше не ходил, я так понял, что не нужно. Письма я выброшу в реку, когда буду уезжать из этого города, но пока что у меня хватает денег и я немного здесь поживу, пока она не наладится, не раскроется, пока не сработает этот засов; я всегда мечтал уехать хотя бы временно, просто сбежать куда-нибудь и потратить там все свои сбережения, чтобы не искушаться, не задумываться, не жить ожиданием жизни, от успешного стартапа с инвесторами господь береги, от бизнес-плана береги, от креативной индустрии подальше к пропасти безвластия над собой отведи. К бабке не ходи, к бабке не ходи, к бабке не ходи.



Бывает, что кто-нибудь из них никак не хочет уходить и требует, чтобы позвали Симу. И тогда к нему подходит Роман и объясняет, что представление окончено, Сима уехала домой, а он может прийти завтра, если захочет. Сима никуда не уехала, разумеется, а сидит у себя, и выследить ее проще простого. Но такие парни, к счастью, редко догадываются пройти несколько метров по пляжу, туда, где стоят наши вагончики. Иногда мне их жалко, этих парней. Сидел человек – никого не трогал, но Сима решила, что он будет с ней танцевать, и вот он уже идет за ней, как загипнотизированный. Нет здесь, конечно, никакого гипноза. Она просто спрыгивает со сцены и подходит к кому-нибудь из таких. Парень, один из тех, кого мне обычно жалко, не вполне понимает, что происходит, но встает как миленький. Сима тем временем отступает, протянув к нему руки и словно растирая в щепотях корм, который сыпется на песок. И вот уже этот чудак, похожий на изумленного голубя, идет по дорожке из невидимых хлебных крошек.

Если я сижу в этот момент рядом с Хаимом, то он обязательно говорит: «На коду пошло». Хаим – единственный среди наших, кто работал в настоящем театре. «На коду пошло» – это оттуда, это означает, что приближается конец. Забавно все-таки звучит, словно не о представлении речь, а о погоде. Так говорят: «Похолодало» или «Штормит». Словно не от нас зависит, что там происходит, на сцене. Я сказала «на сцене», но это не совсем сцена, лучше уж я сразу предупрежу, чтобы вы не навоображали всякого. Да и театр наш – не похож на настоящий театр. Это квадратный участок пляжа, огороженный фанерными щитами. По периметру тянется балкон, который поддерживают деревянные стропила. Там установлены усилители и прожектора и там же сидят музыканты. В середине огороженного квадрата установлен дощатый помост, на котором выступают артисты, а вокруг – стулья в три ряда – это наш зрительный зал. Поскольку настоящей сцены у нас нет, то того, что называют «за кулисами», у нас тоже нет. Закончив выступление, актеры попросту убегают за фанерные щиты, в темноту.

В середине представления Хаим обходит зрителей со шляпой, но стоит ему закончить, как заходят новые люди. «Как назло! – говорит Хаим. – Только пустил шляпу, и – волна». Опять словно о погоде. Среди новой волны находятся все-таки люди с принципами, которые во что бы то ни стало хотят заплатить, и тогда кто-нибудь из наших предлагает им купить диски с песнями.

Когда меня спрашивают, где работает моя мама, я говорю: «На Кошачьем Пляже». Пусть думают, что она официантка в кафе или продавщица там, на ярмарке. Про театр я молчу. Раньше говорила, как есть, но потом надоело. Вначале человек охает да ахает, как, мол, удивительно: мама в театре работает, а потом выспрашивает и обязательно начинает мне объяснять, что наш театр – не театр, актеры – не актеры, а сцена – не сцена. Как будто я ему врала, что у нас здесь Гранд Опера. Разумеется, все наши, кроме Хаима, пришли бог весть откуда. Вот хотя бы Роман. Он неплохо жонглирует, но больше все-таки чинит и строит, если нужно. И выпроваживает Симиных голубей, когда они слишком назойливы. И тащит, что потяжелее: декорации, прожектора. Раньше у него была другая профессия, но он ушел к нам. Я рассказала про это нашей новой классной и напугала ее тогда до полусмерти. Я сказала,

что дядя Роман бросил свое прежнее ремесло, потому что ему надоело выжигать глаза. Училка эта новая аж затряслась: «Выжигать глаза? Господи, девочка, что ты говоришь такое?!» Мне, конечно, понравилось, что я ее так впечатлила, – люблю, когда само собой получается; но я представила, что это может плохо закончиться, и объяснила. Роман работал когда-то программистом, и ему надоело выжигать себе глаза кодом. Это он так говорит, когда его спрашивают, как ему живется. «Паршиво, конечно, живу, но поверь, это лучше, чем выжигать глаза кодом». Так что тогда, с новой классной, обошлось – она успокоилась.

Надо, конечно, думать, что говоришь, потому что Кошачий Пляж – то еще место, и совсем не для детей, если честно. Так что не удивительно, что время от времени сюда приползают социальные работники. Одно хорошо: теток этих за версту видно, и когда такая подходит к вагончику, то к ней выходит моя мама. Мама знает, как с ними говорить, она в юности тоже на что-то психологическое училась. А вот музыке мама не училась никогда, получается – она не настоящая певица. Зато она ведет весь вечер. Она сидит на балконе, рядом со скрипачом, аккордеонистом и барабанщиком. Да, у нас весь вечер живая музыка. И живые танцы. Сима, конечно, лучше всех. Иногда я ее за это ненавижу. В начале сезона они с мамой разучили «Босую» – вот тогда-то я ее и возненавидела. Стоило маме затянуть «Выходит босая» – как Сима запрыгивала на помост, на нашу сцену, которая не сцена, и начинала танцевать. И что-то в этом такое было, из-за того, что она как в песне, прямо вот так и выходила – босая. Мне в этот момент казалось, что я опускаюсь в горячую ванну. Не знаю, как объяснить... По-моему, так нельзя. Мы когда-то подобрали здесь, на пляже, котенка-подростка. Взяли его, чтобы подкормить, пока не наберется сил, очень уж тощим был. Так вот, котенок этот был жуть какой блохастый. Я набрала в тазик воды, развела там шампунь и окунула его в пену. Он вначале дико испугался и стал вырываться, но я придерживала его, так что только башка была снаружи, и постепенно почувствовала, что он обмяк: ему понравилась горячая вода, и он больше не царапался. Он вообще, кажется, балдел – так ему было хорошо. Блохи, кстати, начали спасаться и вылезли ему на голову, где было сухо, а я их ловила – получалось, что кот еще получал и массаж головы: двойной кайф. И тут я увидела его взгляд. Понимаю, что смешно звучит, но это был настоящий взгляд, и в нем было счастье и стыд. Тогда-то мне и показалось, что так нельзя. Человек, ну или там кот, сам должен добывать себе удовольствия. Нельзя никого силком окунать в горячую ванну, да еще и придерживать. Ну это я фигурально, конечно, – того кота надо было отмыть, ничего не поделаешь.

Так вот, я о Симе. Как-то раз, когда она закончила танец и спрыгнула вниз, на песок, то натолкнулась на меня. Обычно, когда Сима заканчивает выступать, и убегает за фанерные щиты, лицо у нее, как у тех деревянных скульптур, которые когда-то устанавливали на кораблях: улыбается, смотрит куда-то вперед, а не видит ничего. Потом уже, когда пробежит по песку несколько шагов, – начинает видеть. Так вот, Сима спрыгнула с помоста, но на этот раз почему-то меня сразу заметила. Говорит: «Ты что, Мышка, что случилось, ты почему так смотришь?» Ну и как я ей объясню про горячую ванну, котенка и все такое? Но вот что удивительно: Сима сама додумалась. Поняла, что это все слишком, и под «выходит босая» начала выходить в мягких черных туфлях, расшитых бисером, а дальше – все как и раньше: куча браслетов на ногах и руках, бусы с колокольчиками. И вот тогда все сразу стало как надо – идеально. Мама сердится, когда я говорю «идеально». Ну ладно, пусть будет «прекрасно».

Мама еще злится, когда я рассказываю чужим про наших. Я ведь могу увлечься и приврать для красоты, а ей потом приходится отбиваться от соцработников. Но про Симу я

ни слова сейчас не придумываю, так вот: она много лет была замужем за змееловом. Никакой особой экзотики, кстати, не было в их жизни. Сима говорила, что там, где они тогда жили, змеелов – это что-то вроде сантехника. Заползла в дом змея – вызывают его, он приезжает. Мне все кажется, что Сима оправдывается, когда так об этом говорит. Словно разговаривает не с нами, а с родственниками мужа, которые до сих пор ее обвиняют. Они считают, что это из-за нее он погиб. Он ведь, как и Роман, когда-то работал в офисе, а потом, наверное, ему тоже расхотелось выжигать себе глаза кодом. При чем здесь Сима, чем она виновата – не понимаю.

Муж Симы любил пустыню. Он часто сажал в машину собаку и уезжал туда, побродить. Там он и встретил свою змею. Видимо, он пытался ее поймать, не наступил же он на нее, в самом деле? Теперь уже не узнать, а Бялка не расскажет. (Это собаку так звать: Бялка – она теперь живет здесь.) В общем, та змея его укусила. Ну укусила и укусила, казалось бы. Змеелова среди ночи разбуди – он без запинки перечислит, какая из змей как выглядит. Это очень важно: знать, какая именно тебя укусила, чтобы в больнице подобрали правильную сыворотку. Так вот, в том-то и дело, что Симин муж прекрасно разглядел ту змею. Это была какая-то супер ядовитая гадюка, самая опасная из всех. На самом деле она не ядовитей других. Тут дело вот в чем: она – очень редкая. Настолько редкая, что в больницах не хранят сыворотку от ее яда. Такой вот замкнутый круг. Так что даже если успеешь добраться до больницы, нет в этом уже никакого смысла. Сима говорила, что у ее мужа была очень хорошая голова. Это в смысле, что соображал он быстро и четко, не зря же работал когда-то программистом. В общем, когда змея его укусила, он достал телефон, позвонил спасателям и подробно объяснил, где его найти. Спасатели ему говорят: «Мы выезжаем, объясните подробнее потом, когда мы будем в дороге». А он им: «Нет уж, ребята, сосредоточьтесь как следует и слушайте сейчас. Не будет потом никакого «потом». Я объясню вам, откуда забрать мое тело». И когда они приехали, то так все и было, как он сказал. Забрали тело и Бялку, которая сидела рядом. Вот такие дела с этими змеями.

Иногда на Симу «находит». Ей кажется, что где-то на задней скамье сидит мать ее мужа или кто-то из его родственников. Мы об этом довольно быстро догадываемся: она то и дело опасно посматривает в дальний угол, и не спрыгивает на песок прикармливать своих голубей, а танцует, не сходя с помоста. И тогда кто-нибудь из наших пробирается на балкон, в том месте, где он нависает над «родственником», и начинает топтаться там, чтобы доски скрипели, а вниз сыпались опилки. Наш балкончик с виду довольно хлипкий, стропила начинают раскачиваться, так что «родственник» довольно быстро уходит, ворча что-то про дешевый балаган и технику безопасности. Но иногда Сима после этого все равно до конца вечера танцует плохо. Она становится жесткой, как доска. Сразу видно, что у нее широкие плечи и она совсем не красавица, и лицо у нее длинное, и глаза маленькие.

У меня есть подружка, Сиван. Она старше меня на целых два года. Так вот, она говорит, что я совсем ребенок и во многое не врубаюсь. Ну и во что это я не врубаюсь, интересно? Чего не вижу? Что Роман колется? Что гимнасты приторговывают дурью? Знаю об этом, конечно. Знаю и о том, что иногда кто-нибудь из Симиных зачарованных голубей выходит-таки наутро из ее вагончика и бредет по пляжу, стараясь не набрать песка в туфли. Ну и что? Тоже мне, новость.

Но, по правде говоря, я, конечно, сомневаюсь, так ли уж я разбираюсь во всем, как мне хотелось бы. И я имею в виду не какие-нибудь там леденящие душу тайны, а простые вещи. Вот, например, взгляды, которыми наши обмениваются во время выступления. Хаим иногда

переглядывается с мамой, сидящей на балконе, и я понимаю, что это значит: «Внимание! Стараемся, друзья, среди публики большая шишка». А бывает наоборот: «Провернем по-быстрому, надоело все до чертиков». Или, бывает, мама переглядывается с Симой, когда та танцует с кем-нибудь: «С этим осторожней, не заводи его, он псих». Все эти их шулки я знаю, как змеелов – своих змей, но есть одна, которую никак не пойму.

Не могу точно сказать, когда это случается. Иногда даже, как ни странно, после команды «провернем по-быстрому». Вроде уже и вступление урезали, и Роман мотает головой, мол, сегодня жонглировать не буду, давайте уже на коду. И в мамином голосе, когда она запекает «Босую», слышится скука, и Сима вспрыгивает на помост, тяжелая и кургузая, как черная куропатка. Вроде всем ясно – не самый удачный вечер. Но потом что-то происходит. И вот мне интересно, как и когда они все договариваются, даже не переглядываясь? Как получается, что с этой минуты вдруг никакого «провернем по-быстрому», а наоборот, что-то замедляется, и, кажется, от движений Симы все вокруг сгущается, как заварка вокруг чайного пакетика. И медленно-медленно вся ночь заваривается – оранжевая, коричневая. И самое удивительное, что в голове у меня в такие моменты все очень четко и ясно, как у программиста, но как мне при этом удастся пропустить момент, когда Сима скидывает туфли и оказывается босая? Она идет по песку, проходя между стульями, и сразу несколько зрителей – мужчины, женщины – встают со своих мест и начинают танцевать. И никого из них не жалко.

И еще одна странность вот в чем, и она происходит днем, когда наш театр был бы закрыт, если бы был театром, а не просто кусочком пляжа, огороженным фанерными щитами. Любой может зайти к нам, только смотреть здесь днем не на что: сцена пуста, стулья свалены в кучу. В общем, когда до вечернего выступления еще прорва времени, и все заняты своими делами, или сидят по вагончикам, тогда, случается, под нашим тентом появляется человек. Человек спрашивает, куда делись те певица и танцовщица, которые здесь выступали неделю назад. Чудесные исполнительницы старой песни, где они? – он хочет их видеть. И тогда к нему выходит Хаим и объясняет, что состав труппы в этом сезоне не менялся, все кто был, те и остались, и пусть приходит на выступление сегодня же вечером.

«Нет, – говорит человек, – я уже неделю сюда хожу: те артистки, которых я запомнил, – с тех пор их здесь не было».

И тогда к нему выходят мама или Сима и предлагают купить диск – на нем все наши песни записаны в настоящей студии, все в лучшем виде.

«Нет, – говорит человек, – я купил ваш диск и внимательно все прослушал – но там нет песни, которую у вас в тот раз пели».

И тогда к нему выходит кто-нибудь из гимнастов или клоунов – поболтать, покурить – и человек все твердит про песню, которой нет на диске, и никто с ним не спорит. А потом все пожимают плечами и расходятся. А он остается, Роман его не выгоняет. Жалко, что ли, пусть торчит здесь, сколько душе угодно, если ему делать нечего – кому он мешает? И человек этот сидит в тени стульев, собранных в кучу. Сидит себе и сидит, и тогда к нему выходит Бялка и кладет голову ему на колени.



Екатерина Перченкова

Дом куплю, в котором страшно

Отпуск, вот он, родной.

Отпускает сразу, как только прощальный хвост электрички исчезает за солнечным сосновым поворотом. Дальше я пойду пешком. Через кусочек леса вдоль станции, потом через поле, большое-пребольшое, сначала по грунтовке, а после по тропинке; потом по краю деревни Анциферово мимо старого памятника с жестяной звездой наверху, мимо заросшего темного пруда, а потом еще по одной тропинке – и будет дом. Мой.

По правде – он чужой пока, но в будущую пятницу станет мой. Там уже живет мой чайник. И моя теплая кофта. И Янка моя, золото, тоже там живет уже с четверга.

Счастье мне будет сегодня, счастье нечеловеческое – открыть медленную калитку, снять рюкзак, бросить поверх рюкзака джинсы и пропылившуюся футболку – а во дворе жестяная бочка с дождевой водой, живой водой, мягкой, плавучей: окунуть в нее – и стану легкой, стану местной, переоденуть в бежевый мягкий сарафан, в дом войду босая по теплым ступеням в облупившейся зеленой краске, а дома Янка, и ужин, и вино молодое – кислятина, но забавная, к тому же можно водой разбавить; вот, везу две бутылки.

Господи, как я люблю, когда все получается согласно задуманному... Вот она, калитка. Вот подается упрямая пружина, и дверь открывается – медленно и тяжело. Вот бочка, и вода в ней как задумано – теплая, этой самой бочкой пахнет, и деревней, и летом. Я сажусь на корточки, чтобы погрузиться в воду с головой, голову там, в жестяной глубине, поднимаю, открываю глаза – и сквозь прозрачное вещество воды вижу круглые зеленые яблоки наверху. Такие яблоки, прямо как звезды со дна колодца.

Переодеваюсь во дворе, сарафан из рюкзака мятый – и бог с ним, что мятый, зато мягкий, зато ноги босые, и вода с волос течет между лопаток, и лето, лето мое драгоценное, и дом, и отпуск.

Ужином в доме не пахнет: Янка, понятное дело, привезла с собой немножко интернета и сидела всю ночь, а теперь дрыхнет до вечера. Я затаскиваю на веранду рюкзак и шмотки, оглядываюсь, и все мне нравится, и все здесь мое родное. И тканый серо-розовый половик, и два громоздких кресла, и старинный советский буфет, в котором за стеклом вместо посуды рядами стоят журналы – «Наука и жизнь», «Новый мир», еще один с черным корешком, не пойму какой. Не станет же хозяйка увозить их, когда продаст мне дом?

А на подоконнике живет бронзовый зеленый Пушкин. Не весь, а только бюст на подставке. Если хозяйка и его оставит – переселю в дом, на каминную полку. А сосед у Пушкина из породы суккулентов, в громадном керамическом горшке, заслуженный такой: уже одеревенел – или окаменел даже – по стволу и роняет в горшок темные круглые листья.

Я открываю дверь в комнату и вижу Янку.

То есть я вижу стол, на котором сидит Янка. У нее на голове белая косынка, а в комнате темновато – вот белая скатерть, вот косынка, а она между ними, сидит и не говорит ничего, только открывает рот, увидев меня – то ли для вдоха, то ли для всхлипа.

– Что? – спрашиваю я и сразу вижу пол.

На полу крохотные трехпалые следы – птичьи или вообще не знаю чьи, как будто через комнату вершился великий воробьиный поход. Прямо у моих ног валяется скалка, пол рядом с ней в мелких темных брызгах.

– Я как Мартин Лютер, – говорит Янка, и губы у нее дрожат, и подбородок, и секундой спустя я уже стою у стола и обнимаю ее, а она ревет и ревет и никак не может прекратить, и я снимаю с нее косынку и глажу по голове так старательно, будто хочу выпрямить густые ее черные кудри, и думаю про себя: я не могу, не могу, не могу больше, а сейчас надо будет собирать вещи, и кофту мою в рюкзак, и чайник в пакет, и Янкин ноутбук забирать, и на станцию, а я не хочу, совсем не хочу, мне не надо в город, мне не страшно, у меня немножко есть деньги, я вызову ей такси, а сама не могу, не хочу, не...

С ума я сошла, что ли.

Но Янка говорит: все – и выскальзывает из рук у меня, и слезает со стола. И говорит: я пирог хотела сделать. Картофельный. И говорит: я не знаю, кто это были. И говорит: давай пирог все-таки, а то есть хочется. А пока бутерброды можно.

Золотая, я сказала? Нет. Янка у меня, похоже, железная.

Мы ведем себя так, как будто ничего не случилось.

Это все город. Нам с Янкой пока что нечем особенно бояться: город нас выжал до капли, высосал и оставил две полупрозрачных оболочки, которые в ближайшие три недели только должны были наполниться заново – солнцем, лесом, полем, речным песком, стрижами, черникой, первыми грибами – колосовиками с бледными шляпками, первыми зелеными яблоками, красными закатами, дымной ночной росой, лежащей на травы.

Или нет, это все дом. Теперь-то должно быть нормально, я же приехала. Янка здесь чужая, а я почти своя, потому что почти купила дом. Они же – кто бы ни были – не дураки своих трогать.

И даже спать мы разошлись по разным комнатам.

А ночью Янка наверху вскочила и куда-то побежала, хлопнула дверью, пронеслась по лестнице, вернулась и хлопнула дверью снова. Потом был такой звук, как будто на втором этаже открывают окно, а потом как будто что-то тяжелое рухнуло на пол. Потом такой, как будто что-то – тоже тяжелое – со всей дури впечатали в дверцу шкафа. И я схватила топор и побежала к Янке...

...а она спала. И ничего не слышала. И окно у нее было закрыто. И шкаф на месте.

И я не стала ее будить.

За ночь кто-то разрезал остаток картофельного пирога на четыре куска и разложил их по углам стола. А посередине стола вывалил банку аджики прямо на скатерть, а саму банку разбил у двери.

– Это точно не домовой, – уверенно сказала Янка, – было бы слишком глупо.

Я согласилась.

Мы навели порядок и пошли за черникой. Черный кот, неспешно перешедший нам дорогу сразу за калиткой, вызвал у Янки приступ истерического хохота. Потом она обнаружила, что забыла переобуться в сапоги – а мы собирались лазить через канаву, – и ей пришлось вернуться.

– Я в зеркало посмотрелась, – сказала она, догнав меня в поле, – и еще на ступеньки соли насыпала. Не знаю зачем. Просто подумала, что так надо. Понимаешь?

Я понимала еще как. Я сама утром наплескала колодезной водой в окна – сначала снаружи, потом внутри дома, потому что так было надо. Просто мы там были не одни. И надо было как-то учиться жить вместе.

Черники было мало, зато я нашла два здоровых и совсем не червивых колосовика, а Янка семейку маслят, на двоих с картошкой – самое что надо. На канаве мы нарвали зверобоя и иван-чая, а по пути обратно сделали крюк, зашли в магазин в Анциферово и купили торт «Чародейка».

А дома оказалось, что моя прекрасная дождевая бочка лежит на боку, и вся вода из нее утекла под крыльцо. И это было уже серьезно. Правда, серьезно: воды в нее помещалось – на две ванны хватило бы. И сила, чтобы повалить ее, нужна была нечеловеческая.

– Это ничего, – легкомысленно сказала Янка, – привыкнем.

Мы пообедали, убрали чернику в холодильник, замочили грибы в ведре и пошли в сад.

Янкино легкомыслие было всего лишь частным проявлением особой разновидности героизма: надо полагать, это она так – прямо на моих глазах – бросилась в омут с головой, думая, что как-нибудь само уладится и обвыкнется. Она всегда так делала. Например, имея тридцать лет от роду и восемь лет проработав в хорошей конторе, бросила все и решила стать художником. И стала, что удивительно. То есть научилась зарабатывать этим, хотя пахать ей пришлось чуть ли не вдвое больше, чем мне в офисе.

По этой самой причине весь остаток светлого дня мы совмещали приятное с необходимым: я приобретала красивый летний загар, а Янка сидела в яблоневои тени с планшетом, карандашом и горой бумаги, диктуя мне, в какую сторону повернуться, куда отвести руку и на сколько градусов приподнять подбородок.

Жизнь налаживается, – думали мы.

Янкин ноутбук лежал разбитый посреди веранды, а с кухни пропали все стаканы и чашки, мы пили вино из горла и думали: жизнь налаживается.

Подумаешь, чашки.

Подумаешь, ноутбук.

– А завтра, – сказала Янка особенным вкрадчивым голосом, – можно спать до двенадцати.

– Ага, – сказала я.

Но до двенадцати не удалось, я не знаю, сколько времени было – уже не темно, синева в окнах, – когда Янка почему-то оказалась в моей комнате внизу и трясла меня за плечи, и лицо у нее было белое и страшное; из всех ее слов я расслышала только «бежать!» – и потащила было ее за руку к двери, но Янка изо всех сил волокла меня наоборот, захлебываясь рыданиями и повторяя: нельзя, нельзя, туда нельзя! – и мы оказались на кухне, и Янка сказала: в подвал! – и я объясняла ей, что нет никакого подвала, есть крошечный погреб, а все остальное пустой фундамент, и вот мы уже спускались по лестнице в погреб, и вот оказались в подвале, которого вроде бы не было, и вот перед нами была деревянная дверь в стене, и я дернула ее на себя изо всех сил, потому что надо было бежать, – и тут в дверь впечаталась Янкина растопыренная ладонь.

– Бочку, – сказала она, – я гвоздем пробила. Когда переобуваться ходила. А потом вошла

первой и просто набок ее положила, пустую. А остальное еще проще.

– У тебя получилось, – сказала она, – ты прости, пожалуйста, но мне очень надо было, чтобы у тебя получилось.

И отстранила меня от двери. И открыла ее. И захлопнула за собой.

Была половина шестого, за соседскими огородами чернел лес, трава у крыльца была мокрая, и крыльцо мокрое, но я все равно сидела на крыльце и мерзла, потому что потом можно было вернуться в дом и согреться, и надо было обязательно пойти и проверить, есть ли подвал; его, разумеется, нет, но проверить все равно надо еще раз, я проверяла четыре раза, это мало, он ведь у меня получился, и в пятницу я куплю дом, это будет мой дом, обязательно.

Потому что однажды Янка, может быть, вернется.

Екатерина Перченкова

Знает птичка божия

Мы завели Эмиля, наверное, для красоты. Так люди заводят амадинов и орхидеи, когда у них достаточно места и нет сквозняков.

Был конец декабря. Я пошел греть машину, спустился на два лестничных пролета и увидел, как снизу прямо на меня, вздрагивая и покачиваясь, плывет большой салатový комод.

Комод плыл. Под ним торчали две мужские, кажется, ноги, обтянутые узкими джинсами. По бокам его с мучительным усилием охватывали две мужские, кажется, руки. Почти достигнув лестничной клетки, он качнулся слишком сильно и начал медленно заваливаться назад. Но у меня хорошая реакция.

Дальше я волок комод на наш третий этаж, а Эмиль плелся за мной, растирая пальцы и рассыпаясь в благодарностях. Привлеченные шумом, Галка с Алисой открыли дверь. Я поставил комод на пол, а Эмиль высунулся из-за моей спины и нелепо сказал: «Познакомьтесь, я ваш новый сосед слева. Я не буду стучать и сверлить. Я вообще не умею делать ремонт, если честно».

Мы пожелали ему счастливого новоселья и поехали в Ашан.

Там Алиска – она влюбилась с первого взгляда – купила ему стеклянный подсвечник и пакет цветных леденцов, как я ни убеждал, что лучший подарок новоселу – пачка чая и батон колбасы.

Не знаю, досталась ли соседская квартира Эмилю в наследство (мы не водили знакомства с прежними жильцами) или была обретена путем сложных разменов и доплат. Одно ясно: раньше в этой квартире жила бабушка. Такая обыкновенная, невзрачная бабушка: сушила белье на балконе до морозного хруста, варила щи, раз в три года просила алкоголика Колю с четвертого этажа подновить лак на паркетном полу. Давно не переклеивала обои – было, наверное, уже не под силу, – только пришивала булавками к стенам фотографии, газетные вырезки, открытки и цветные картинки из календарей. И весь этот жалостливый эрмитаж кто-то однажды снес на помойку, чтобы новому жильцу остались пустые голубовато-зеленые прямоугольники на выцветших обоях.

Я помог ему поменять кран в кухне и наладил подтекающий бачок. Окна на зиму он заклеил сам. Но все равно остался холодноватый бабушкин уют, вечный сквозняк угловой квартиры; и Новый год Эмиль, конечно, встретил у нас: было бы бессовестно бросить его в одиночестве.

Странный оказался человек. Хотя вернее было бы сказать, странное создание. Бестолковое, декоративное, существующее непонятно для чего. Из отборной породы неудачников: он не окончил института, перебивался случайными заработками, не встречался ни с кем, хотя явно должен был нравиться женщинам. Прописался на нашей кухне, не вызвав у меня ни малейшей тревоги, точно принадлежал к иному биологическому виду. Я оставлял жену и дочь с ним так же легко, как оставил бы со щенком или попугаем.

Небольшой толк с Эмиля, впрочем, вышел. На зимних каникулах дом наш наполнился

душераздирающими завываниями: Алиска репетировала роль Офелии. Ее англичанка затеяла ставить отрывки из «Гамлета» на языке оригинала, и теперь дочь бродила по квартире, заламывая руки и напихав в распущенные волосы капроновых цветов. И некому было прочесть ей в ответ за Гамлета или Лаэрта; я пробовал, но мое произношение вызвало у ребенка вполне себе безумный хохот.

За этот хохот Эмиль и уцепился. Они всерьез репетировали три вечера подряд – и завывания сменились вдруг птичьим щебетом и диковатым хихиканьем. Офелия передвигалась мелкими кривыми шажками, обирая с себя невидимый мусор. Она запускала в роскошные свои волосы длинные сумасшедшие пальцы – и судорожно сжимала кулаки. И усмехалась половиной лица, оставляя другую без движения; и внезапно переходила на ультразвук. Галя даже обеспокоилась: очень уж естественно это все у Алиски выходило, а не надо вытаскивать такие вещи из человека, вдруг обнаружится склонность...

Но кончилось все хорошо: после выступления дитя наше приволокло домой золоченый диплом за актерское мастерство, подмороженную розу и приглашение участвовать в областном конкурсе чтецов.

Для конкурса выбрали неизбежного и беспроегрышного Пушкина. Ребенок вновь попытался многозначительно подвывать, но Эмиль вмешался и теперь. «Пора, мой друг, пора!» – произносила наученная Алиса легко и почти беспечно, но с какой-то невероятной печальной силой. Сила эта происходила от попытки не засмеяться: Эмиль сказал ей, что слово «глядь» Пушкин использовал как эвфемизм. «...А мы с тобой вдвоем предполагаем жить... И, *глядь* – как раз – умрем».

Это было похоже на правду. Он, сукин сын, мог.

Я смотрел на них, репетирующих, и думал, что веселая эта тоска – сердцевина и основа не только для нашего соседа слева, но и вообще для любого живого человека. Умрем же, блядь.

С Эмилем было легко и – несмотря на всю его несуразность – спокойно. Насыпать проса в кормушку, долить воды в поилку – и живи себе, птичка. Ложись спать под утро, просыпайся когда вздумается, приходи к соседям ужинать, обитай у них в кресле под торшером – вот, кажется, и рай.

То ли дело мы: с Алиской, с дедом в Кузьминках, который ни нас, ни внуку давно не узнавал; с Галкиными почками и двумя кредитами. Но Галка цвела, и Алиса пересказывала школьные хохмы, и дед иногда принимал меня за родного сына, умершего в младенчестве, и я брал работу на дом, чтобы расплатиться скорей, и мы были счастливы, а Эмиль – вряд ли, хотя со стороны могло показаться как раз наоборот.

Но и ему наконец выпала удача: пришли почтой какие-то материнские документы, а следом письмо из консульства. Минул год нашего соседства, пора и честь знать. Алиска вышивала ему напоследок ласточку, птицу о двух родинах, охранительницу эмигрантов, а мы тревожно ожидали новых соседей. Которые не будут отмечать с нами Новый год, но непременно станут стучать и сверлить.

Это был бы хороший конец. Все спокойные истории имеют свойство заканчиваться какой-нибудь стыдной нелепостью, а нам вот повезло...

Но здесь я поторопился. Уже собрав вещи, уже познакомившись с будущими хозяевами

квартиры, Эмиль встретил меня по пути с работы и сказал, что у него очень неудобная просьба. Мы поднялись к нему поговорить.

Просьба оказалась не то что неудобной – безумной. Я должен был пойти вместо него на свидание. Потому что – так получилось – весной он отправил девушке, с которой переписывался, мою фотографию.

Чтобы осознать весь абсурд ситуации, надо видеть меня. И видеть Эмиля. Я человек, скажем так, не очень фотогеничный. И если судить по внешности (он горячо сказал: Таня никогда не судит по внешности!), то задавить могу скорее массой, чем интеллектом. И еще наша наследственная лысина...

Эмиль же на вид был чистый байронический герой (которого, впрочем, давно не кормили). Или латиноамериканский революционер (которого пару лет продержали в плену). В общем, мечта поэтической девы.

Короче, я ничего не понял.

И тогда он объяснил.

Девушке Тане Журавлевой было девятнадцать лет, и она нарочно приехала в Москву, чтобы увидеть его – после целого года сложного эпистолярного романа. Девушке Тане Журавлевой не был нужен стареющий мальчик Эмиль, хороший поэт («я не говорил? три книги...») и плохой человек, у которого таких тань может быть тысяча и одна штука. Можно было бы встретиться с ней. Можно было бы попытаться увезти ее с собой – но Эмиль жил такой жизнью, в которой перегоревшая проводка, больной зуб или копеечный долг выбивают из колеи на долгие месяцы вперед. И никто не обещал, что на новом месте будет легче.

Тане Журавлевой нужен был кто-то, выглядевший как я. Большой и неромантичный. Совершенно не поэтический. Человек, в чьей жизни она будет не неловкой девочкой, а снизошедшим совершенным ангелом. Единственной в целом свете. Единственным светом на всю жизнь. Не для любви, не для семьи, не для быта – а просто так: чтобы потом вспоминать, не мучая себя.

Мы немного перебрали в тот вечер, и я согласился.

Они условились встретиться в книжном магазине в Малом Гнездиновском переулке. Я нашел его сразу, хотя Эмиль обещал, что буду плутать. Свернул под арку, вошел в дверь, поднялся по неуклюжей лестнице.

Все люди внутри были чем-то неуловимо похожи на Эмиля. Такие же бестолковые, нескладные и красивые. И Таня Журавлева тоже была там – девушка в длинном сером пальто, маленькая и словно немного больная.

И она сразу меня узнала, и нужно было видеть это. Как озарилось бледное зимнее лицо. Как вспыхнуло, словно стремительная чахотка снизошла – сжечь ее в кратчайшие минуты.

– Вот и ты, – сказала. Голос был бесцветный, как будто она не привыкла говорить вслух.

Я протянул ей пакет с книгами, подобранными Эмилем, и ответил: да. У меня очень мало времени. Буквально несколько минут. Я уезжаю.

– Да, – сказала она, – пойдём. Я провожу тебя до метро.

Она тянула слова и прибавляла гласные между ними – должно быть, заикалась в детстве.

И когда Таня Журавлева взяла меня за руку, люди кругом вдруг ожили и потеплели, как будто посчитали за своего.

И вот начинается медленное праздничное путешествие, и длится ему семь минут – если по часам. Мы идем сквозь медленный московский снегопад, темный оттепельный гололед, вдоль рождественских витрин; я придерживаю Таню Журавлеву за локоть, и она сияет, и мерцает, и так светится, будто сейчас, сию минуту, выгорает под своим длинным пальто до белых костей. Я теперь знаю, отчего обитатели малых этих гнезд всегда почти бесплотны, – потому что и сам с правого бока сейчас плавлюсь, как снеговик.

Мы плывем вниз на эскалаторе – еще две минуты – и Таня вглядывается в меня изо всех сил, явно решая – поцеловать или нет, и не целует в конце концов. Мы обнимаемся посередине платформы и расходимся по разным поездам.

Возле дома я обнаруживаю, что прижимаю ключ к замку левой рукой, потому что правую держу на весу, как обожженную.

Мне некому рассказать об этом. Некому в целом свете. Нельзя Эмилю. Нельзя Гале. И Алиска еще маленькая. А больше у меня никого нет. А ничего, собственно, и не было. Как рассказать о том, чего, собственно, не было? Как сказать Эмилю о том, что ему не нужно и не важно – иначе он не сделал бы из меня глупого самозванца, а поехал бы в книжный сам...

И жизнь просвечивает сквозь жизнь – иная, очарованная, поврежденная нашим опасным дыханием, нашими неуклюжими движениями, но все равно она светится, как иногда ранним утром начинает светиться воздух; и пройдет еще время, и еще одно время, но воздуха хватит на всех, и Гале больше не нужен будет диализ, и Алиска станет великой актрисой, и постаревшая Таня Журавлева вспомнит меня перед сном, улыбаясь; а потом мы все умрем, блядь.

Екатерина Перченкова

Чара

Данечка никогда не думал, что мама на такое способна.

Мама ведь тишайшая женщина в пастельных тонах, робкая неженка, последние годы живущая в смиренном благоговении перед домашним устроенным бытом. Все кругом – ее собственный, ненаглядный, вымечтанный и вымученный рай, и в этом раю она властвует и прибирается, для всего имея необходимые инструменты и средства. Эти салфетки, к примеру, для зеркал и стекол, те для мебели, а в зеленой пачке – для хромированных кранов в ванной и на кухне. Для Данечки все они одинаково тряпки, иногда из-за этого получают небольшие курьезы и даже скандалы.

Когда он впервые завел себе компьютер, мама замерла на пороге комнаты, издали разглядывая непонятный электрический ящик, потом нерешительно подошла поближе и спросила: он точно... ну... не взорвется?

Данечка успокоил ее, а потом потекло время и поменялась жизнь: дом их непонятным образом перешел в категорию приличных, поменяли сантехнику, положили везде коричневый ламинат и бежевый кафель, маме купили большой телевизор с плоским экраном – и тогда она наконец смирилась с компьютером и поднесла ему дипломатический дар: антистатические салфетки для монитора и антибактериальные для клавиатуры. Что тут поделаешь: в приличном доме всегда есть компьютер, а в некоторых так даже два.

Маме решили завести ноутбук – она была недоверчива, но кое-как освоила простейшие функции; Данечка потом сменил его на другую модель, получше и полегче, еще через пару лет появился смартфон, потом планшет, а потом мама вдруг нашла с ними со всеми общий язык. И Данечка, и бабушка сперва посмеивались, потом высказывали тихое недовольство – ужина теперь приходилось ждать вдвое дольше, потому что мама должна была непременно его красиво сервировать, сфотографировать и выложить в инстаграм, – а потом привыкли. У бабушки с внуком никогда не было особенного взаимопонимания, но тут они сошлись: личную жизнь мама вряд ли уже устроит, характер у нее трепетный, склад личности интровертный, так что новых друзей и интересных компаний тоже не приходится ждать: пускай хоть так. И занята, и присмотрена, и довольна. Беспокойства мамино увлечение никому не причиняло: разве что иногда ей случалось купить через интернет какую-нибудь красивую и бесполезную штуку, очень нужную в хозяйстве по уверениям рекламодателей, и когда штуку привозили, она долго в задумчивости сидела над ней на кухне, всем лицом и телом выражая обреченное недоумение.

И вот однажды случилось: бабушка позвонила Данечке на работу так, что из трубки на него пахло корвалолом и большим скандалом.

– Приезжай немедленно, – слабым, но настойчивым голосом сказала она. – Мать твоя учудила...

Что она там могла учудить? – беспокойно размышлял Данечка в метро. – Может, робот-пылесос? Это ладно, его можно сдать, вернуть деньги. Может, заплатила где-нибудь кредиткой лишнего? Это тоже можно вернуть. В худшем случае...

И тут ему отчетливо представилась картина худшего случая. Цепкий смазливый

провинциал лет сорока пяти, с которым – сейчас окажется – мать познакомилась в сети уже пару лет назад, у них любовь до гроба, и вот теперь мама поставила бабушку перед фактом: «Василий Петрович будет жить с нами». Сердце прижало не хуже, чем у бабушки: в малогабаритной двушке – принадлежащей к тому же матери по всем документам – только Василия Петровича и не хватало.

Но когда он пришел, в коридоре не обнаружилось никакой мужской обуви, кроме его собственных, Данечкиных, кед и ботинок. Корвалолом пахло так, что хоть святых выноси. И чем-то еще – смутно знакомым, острым и едким, но, кажется, приятным.

Бабушка вышла к нему стремительно, стала рядом, скрестив на груди руки, и громко, чтобы на кухне было слышно, сказала: ты гляди, гляди, Данечка, до чего мать-то твоя додумалась на старости лет!

Мама вышла из кухни одетая в тренировочный костюм, пятнистый и мокрый с груди до колен, морщась и держа во рту указательный палец.

– Укусила? – злорадно и одновременно возмущенно поинтересовалась бабушка.

– Даня, – сказала мама строго, как в детстве, – такое дело. Мы завели химеру. Ну, то есть я завела.

– Твою мать, – растерялся Данечка.

– Я ее помыла. На кухню пока не заходи. Пусть обсохнет, привыкнет. Я тебе поесть в комнату принесу, – тут на кухне довольно-таки крепко грохнуло, мама ойкнула и понеслась туда.

– Вот так! – заявила бабушка.

– Твою мать, – повторил Данечка и сел расшнуровывать ботинки, а потом, конечно, пошел напрямик на кухню: живой химеры он никогда не видел.

– Руками не трогать! – сразу предупредила мама. – Анна Ивановна сказала, если ее мокрую в руки брать, умываться перестанет.

– Не больно-то и хотелось, – поморщился Данечка, наблюдая, как устроившись на самом углу холодильника, склонив остренькую мордочку, химера быстро-быстро коротенькими передними лапками выщипывает что-то у себя из хвоста. Чудовище, конечно, пусть и мелкокалиберное, размером со среднюю кошку. А еще она была желтая. С мордочки до пят покрытая реденьким коротким пушком цыплячьего цвета.

– А чего она желтая?

– Маленькая потому что, – объяснила мама, – это у нее не постоянная шерстка, а пушок такой младенческий. Вырастет, будет цвета – она подтолкнула к Данечке по столу глянцевою брошюру – «сумеречный гранат», то есть серенькая, а ушки, лапки и хвостик слегка бордовые. Тут вот все подробно расписано, мне заводчик дал. А у Анны Ивановны Люся цветом как персидская кошечка, тоже очень мило.

– Люся?

– Зовут ее так. Кстати, надо думать, как нашу назвать. Анжелика? Мне вот нравится. Хотя длинно.

– Ну все, – сказал Даня, – назови в честь Анны Ивановны, ей будет приятно. А я хочу жрать и спать.

Назавтра в офисе Палыч заметил, что Данечка провел бессонную ночь, и сразу заинтересовался подробностями. Но молодой коллега был скучен и все больше зевал, поэтому по дороге с обеда Палыч догнал его в коридоре и напрямую спросил, что произошло

и не надо ли чем помочь.

– Мать сдурела, – с готовностью пожаловался Данечка. – Химеру завела.

– Это дело, – неожиданно одобрил Палыч. – Давно?

– Да вчера вот. Домой прихожу, она ее моет. У бабки чуть ли не инфаркт.

– Да привыкнет потом. Химеры, они, знаешь, очень даже к старикам. И к детям. Моя вон с тещей живет душа в душу, телик вместе смотрят, из одной тарелки едят.

– А что они едят, кстати?

– Вообще корм специальный есть, – Палыч виновато вздохнул, – но на нем разоришься.

Так что мы со стола даем. Яичный желток покрошить можно. Кефир тоже неплохо. Яблоки, только несладкие, зеленые, нарезать. Капусту там, огурцы. По чуть-чуть, для витаминов. Мясо когда даешь, кипятком ошпарь сначала, а лучше вообще отвари. Организм неисследованный, мало ли как он к паразитам. И главное это, много не клади и следи, чтоб до конца съела. У них когда еда остается, они нычки делают по всему дому, будете потом бегать, искать, что где протухло.

– Вот же ж блин, – с чувством сказал Данечка.

– Да ладно. Химера – животное очень интересное. Не гадит к тому же. Такая вот загадка природы. Перерабатывает сто процентов пищи в энергию. Мне бы так, – Палыч смущенно хлопнул себя по выпирающему пузу. – Кстати, как обереги заказывать будете, ты мне маякни, я тебе ребят посоветую. Мне на все двери уже год как поставили, жена не нарадуется.

– Какие еще обереги?

– Ну как же. В клетке ее держать нельзя, она от этого звереет быстро, начнет вырываться, поломается вся. Значит, пускают ее гулять по всему дому. А если ты спать, к примеру, ложишься, а на двери оберега нет, то ночью она придет и тебя задушит.

С работы Данечка ехал изумленный и притихший. Чувство было такое, словно кто-то умер. Или очень болен. Или пропал без вести. Нехорошее, короче говоря, чувство. Надо было, конечно, серьезно поговорить с матерью по поводу этого существа. Но, чем меньше оставалось пути до дома, тем отчетливее он понимал, что не сможет начать разговора.

Надо было собаку ей, – думалось с запоздалым раскаянием, – померанского шпица, пусть бы носилась с ним. А теперь-то что...

Но, входя, он столкнулся с пацанами в рабочей синей форме, и мать уже бродила по квартире зачарованная, прикасаясь к маленьким серебристым чипам, наклепленным на дверные косяки примерно возле уровня глаз взрослого человека.

– Запоминай, – сказала, – вот тут, справа, включить. А слева выключить. Когда включено, видишь, оба немножко светятся. Не забудешь?

– Мама, – проникновенно и печально сказал Данечка, – я забуду обязательно, и эта тварь меня задушит.

– Они не душат, – возразила мама, – они вообще очень добрые, любят людей, поддаются дрессировке. Просто приходят спать, как кошки, на грудь.

– И чего, кто-то помер от этого?

– Вообще-то они очень тяжелые, когда спят. То есть даже не тяжелые, а...

Даня взял из ее рук какую-то тонкую и теплую серую газету, скользнул глазами по странице, прочел: «спящая химера может просидеть в человеке колодец» – и изо всех сил ущипнул себя за бок. Стало больно, но проснуться не получилось.

– Отнесла бы ты ее обратно, а? – безнадежно сказал он, – где взяла, туда и отнесла бы...

– У всех приличных людей давным-давно есть химеры, – обиделась мама. – Корм вот купила, разорение какое-то.

– Палыч говорит, надо яичный желток покрошить. И кефиру можно.

Вечером он задремал всего на полчаса, а когда проснулся, ужас накатил такой, что даже пошевелиться вышло не с первого раза: химера сидела на груди. Она была холодная, и это был приятный холод. Не особенно тяжелая, действительно как средняя кошка. Только Данечка открыл глаза, химера потянулась к нему, и он даже не додумал испуганное «укусит!» – когда она ткнулась своим сухим и холодным носом в его нос – и отвернулась.

– Хорошая, – неуверенно и заискивающе сказал Данечка. – Кис-кис-кис...

Химера взмахнула кожистыми серенькими крыльями, не удержалась и сверзилась сначала с его груди на кровать, а потом с кровати на пол. Было потешно.

По запросу «funny chimeras» роликов в сети оказалось без счета. Среди них были даже всемирно известные звезды: например, черная химера Яшка, теряющая волю от звуков игры на фортепиано, и золотистый химер Чжин, готовый немедленно завернуться во всякий попавшийся полиэтиленовый пакет.

Данечка быстро усвоил технику безопасности: угрозу представляла только спящая химера. Чара – так мама назвала ее в память чьей-то умершей собаки – однажды прикорнула у него на колене и в одно мгновение сровнялась весом с дедовой пудовой гирей. Больше он никогда не забывал потрогать оберег, заходя в комнату.

Поиск в сети выдавал ему восхитительные и страшные истории об этой особенности всеобщих любимцев. Так, спящая химера не просто тяжелела многократно, а переходила в иное состояние: заснув на груди хозяина, она погружалась в человеческое тело насквозь, до поверхности, на которой он лежал, при этом не повреждая внутренних органов и не причиняя травмы. И если она просыпалась самостоятельно и уползала или улетала – то есть если ее не пугали и не пытались согнать, – человек оставался невредим. Но стоило химеру спугнуть, вынудить дернуться с места – и то, что оставалось от хозяина, уже не могло стать ночным кошмаром травматолога, потому что попадало сразу к патологоанатому.

А потом на Данечку навалилась депрессия. Сам-то он поначалу думал, что просто приболел, но интернет оказался неумолим в оценке его состояния. Все как по учебнику: он просыпался в пять часов утра, проводил весь день полусонный, все время ходил на кухню и что-то ел, не чувствуя вкуса, с трудом заставлял себя принять душ, выдумывал причины не появляться на работе, и только к вечеру иногда удавалось немного развеселиться. И все время болела спина, заклинило позвонок, должно быть, и расклинить его обратно никак не удавалось. Причины для депрессии не было. Та острая печаль, от которой Данечка просыпался в неподвижной утренней темноте, была беспричинна и бесплотна. Каждый раз он смутно помнил, что видел сон. Какой и о чем – не мог вытащить из памяти, как ни пытался. Более того, он даже не мог определенно сказать, был ли это мучительный кошмар, вытянувший за ночь все силы, или, наоборот, видение настолько чудесное, что явь в сравнении с ним оказывалась адом.

Здесь тоже помог интернет: он быстро обнаружил множество форумов, на которых люди делились схожими симптомами, недвусмысленно связывая их с появлением химеры в доме. Прочтя несколько обсуждений, Данечка понял, что проблемы с настроением и самочувствием возникают чаще не у владельцев химер, а у их родственников, не выбиравших

разделять жизненное пространство с неведомой зверушкой, а просто поставленных перед фактом. И что объясняется все очень просто: химера – все-таки не кошечка, не собачка и даже не ящерка: чуждая и необъяснимая форма жизни, может быть даже внеземная, и нормальная реакция нормального человека на такое создание – ксенофобия. Но с тех пор как химеры вошли в моду, многие люди вынуждены скрывать свое отношение к ним, чтобы не расстроить родных, и это не проходит даром: такая депрессия по сути – конвертированная фобия.

Как следует начитавшись, он пошел на кухню, поставил чайник и сделал пару бутербродов. Чара взлетела на холодильник и принялась разгуливать взад-вперед, наклоняя голову и косясь желтым древним глазом. Он отщипнул несколько кусочков колбасы и протянул ей на ладони, отметив, что это машинальный, привычный жест и что, если бы он хоть немного боялся Чару или она была бы ему действительно неприятна, – разумнее было бы положить колбасу в ее миску. Всплыло воспоминание: он как-то уже кормил Чару с руки, наверное, ее специальной едой, мелкими янтарными горошинами, которые приятно было держать в горсти. Не поленился даже проверить: нет, специальный корм для молодых химер представлял собой темные кусочки вяленого мяса с вкраплениями сушеной зелени и мелких семечек. Может, были такие витаминки? Или это была чужая химера, у кого-то в гостях, например? Хотя если бы Данечка видел химеру до появления Чары, он бы точно запомнил.

Несколько дней спустя он обжегся крапивой у подъезда. Шел себе, шел – и вдруг привычно и уверенно сгреб горстью с колючего стебля тяжелые соцветия и молодые листья, обжегся, бросил на землю, выругался, остановился в удивлении. Так должны были бы расти янтарные горошины для Чары – на языке крутилось даже название растения, но никак не произносилось. Он собирал их вот так на ходу тысячу раз. Или не для Чары, для другой химеры? И что это за растение, в конце концов? И какая может быть другая химера, если всех, кроме собственной, он видел только на фотографиях?

А помнится другая. И собственная рука в тяжелой замшевой перчатке, собирающая эти светлые ягоды.

– Черт знает что, – сказал Данечка вслух. Поднялся домой, подержал руку под холодной водой, одновременно внимательно разглядывая себя в зеркале, зашел в свою комнату, выключил оберег и позвал: Чарка, иди сюда!

В коридоре неуклюже зашелестели крылья и зацокали когти.

– Иди сюда, говорю, – Данечка завалился на кровать и похлопал себя по груди, как будто подзывал кошку.

Чара приземлилась и умиротворенно сложила крылья.

– Будем спать, – сказал Данечка и затих, следя, как глаза химеры затягиваются мутной пленкой.

Было совсем не страшно. Он видел перед собой мордочку, похожую на лицо кошачьей мумии, опускающуюся все ниже и ниже; тяжело тоже не было. Примерно через десять минут оказалось, что химера сидит одновременно на его груди и на кровати, непонятным образом пройдя его тело насквозь. Если сейчас зазвонит телефон, – вдруг подумал он, – или грохнет что-нибудь за окном, то это конец. И тоже совсем не испугался, и тоже задремал.

Когда он проснулся, шел дождь и начинало темнеть, Чары не было.

Он осторожно потрогал место, где она сидела, ожидая нащупать провал или какой-

нибудь вмятый след, но не нащупал ничего, кроме собственных ребер. Сел, нашел ногами тапочки под кроватью. Прислушался – мама возилась на кухне. Спина больше не болела. Зачем люди вообще селятся в таких местах, где постоянно идет дождь, – недовольно подумал он.

По кухне плавали серые сумерки, мама сидела на табуретке, закутанная в плед, и кормила Чару с руки консервированной кукурузой.

Она очень изменилась в последнее время, понял Данечка.

Пропала ее робкая суетливость, исчезли неуместные для взрослой женщины детские повадки, она перестала втягивать голову в плечи, держась теперь расслабленно и величественно.

– Ты вспомнил, – не спросила, а утвердительно сказала мама, обернувшись к нему прекрасным лицом.

Данечке стало вдруг так легко и спокойно – всему сейчас должно было найтись объяснение, надежное и верное, хотя его, по правде говоря, устроило бы любое, – что он соврал: да. Да, почти.

Екатерина Перченкова

Факинг кампус и его обитатели

Косинский пропал без вести шестнадцатого сентября. Следующая неделя была омрачена сознанием того, что я, возможно, последняя видела его живым.

К десяти утра Косинский явился на ресепшен в сиянии и славе. Он был облачен в легкое и белое, вид имел снисходительный и усталый; очки его золотились тонкой оправой, усы важно топорщились, за собою он влек дорожную сумку, густо усеянную цветными наклейками.

Девицы, коротавшие утро в холле за ноутбуком, принялись хихикать и шептаться: «Сам Косинский!» – донеслось от них. Тогда классику пришлось втянуть живот и расправить плечи.

Через полчаса он спустился из номера с мокрой головой, в очках-хамелеонах и сандалиях и громко сказал: «Пойду-ка я разведывать месторождения коньяка!», но девиц в холле уже не было, и мэтр удалился в одиночестве. Никто не знал, что одиночество это, вероятно, окажется роковым.

Я тоже не знала, в противном случае повела бы себя иначе, когда Косинский вдруг подошел на набережной и облокотился на меня. Он весил примерно восемьдесят килограммов. Может быть, восемьдесят пять. Разведка месторождений удалась: взгляд классика был блаженно расфокусирован, а дыхание раскрывалось легкими древесными нотками и слабыми тонами сухофруктов, ощутимыми даже сквозь убийственный запах метаболитов этанола.

– Фамилия кака! – убежденно сказал Косинский.

Я обиделась.

Его фамилия была вполне благозвучна – значит, речь шла о моей, а моя фамилия, между прочим, не такая уж и кака.

Обида была бы слабее, если бы я к тому времени не успела произвести собственную разведку месторождений. Но прошлого не отменить: объятия классика вдруг сделались тяжелы мне, я придушенно пискнула: «Да идите вы!» и вывернулась из его рук.

Укрытие мне нашлось за чахлой пролупрозрачной туей, не то чтобы надежное, но утративший фокус взгляд мэтра не мог более обнаружить меня, поэтому дальше я могла свободно наблюдать за поведением классика в курортной среде обитания. И вскоре выяснилось, что мэтра я интересовала не как женщина, но как навигатор.

Косинскому было плохо.

Вселенская бездомность и запредельная неприкаянность обрушились на него. Он забыл не только обратный путь в гостиницу, но и само ее название. Он мог бы прокатиться на катере, выпить еще коньяка, купить с лотка вкусную шаурму, выторговать скидку на десяток ракушечных бус для литературных девиц, но ему некуда было вернуться и негде приклонить тяжелую голову, поэтому Косинский метался по набережной и повисал на прохожих, мучительно вопрошая: «Фамилия кака? Факинг кампус?»

По правде сказать, я, куда более трезвая, запомнила название «Камелия-Кафа» отнюдь

не с первого раза.

Здесь же стала очевидна трагическая разница между мною и классиком. Я бы на его месте робко трогала прохожих и спрашивала: «Простите, только что приехала, забыла, где остановилась, гостиница называется как-то вроде «Камилла». И никто, никто не дал бы мне верного ответа, ибо всякая дыра в стене была здесь входом в гостиницу, или в хостел, или, на худой конец, в уютное частное пристанище – свежие фрукты, удобства во дворе, душ в конце коридора: постучите в стену, кликните Васю, Вася вас из ведра оболъет – олл практически инклюзив. Но Косинский на то и Косинский: он всегда умел читать лекции, давать развернутые комментарии и соблазнять женщин, не приходя в сознание. Вскоре юная блондинка в летящем платье уцепила его под локоть и повлекла в факинг кампус. По крайней мере, так мне тогда показалось.

И тогда кто-то сказал у меня за спиной: Камелия-Кафа.

Я обернулась.

– Ага, – обрадовался человек в солнечных очках с точно такой же сумкой в наклейках, как у Косинского, – вы знаете, где это!

Я неуверенно махнула рукой в предполагаемом направлении, а потом относительно внятно объяснила: вот по этой дороге вверх, дальше шлагбаум, дальше охранник, дальше еще метров пятьдесят и налево, седьмой корпус и будет искомая «Камелия».

– Давайте вы лучше меня проводите. Я здесь впервые.

И мы пошли в совершенном молчании. Я смотрела под ноги и пыталась решить странную задачу. Дело было в босоножках. Я купила их на местном рынке в прошлом году, соблазнившись ценою и нашитыми на тряпичные ремешки крупными деревянными пуговицами, носила все следующее лето, а в августе один ремешок почти оторвался сбоку – и пришлось оставить босоножки на даче, в такой специальной тумбочке, где доживает век разномастная непригодная обувь. Я, конечно, собиралась вот здесь подклеить и подшить вон там, но остановила себя: не хватало еще тратить время на вещь ценой в три поездки на метро.

Плохо, видимо, остановила. И подклеила, и подшила, и увезла в город, и вчера вечером запихнула в чемодан, и сегодня с утра надела... Такая вот жизнь на автопилоте. Интересно, сколько еще ненужного я сделала, не задумавшись ни на минуту?

Было бы вежливо завязать светскую беседу; я обернулась к своему спутнику и обнаружила, что он идет с закрытыми глазами. Что держится при этом ровно, ступает уверенно, что лицо у него спокойное, тихое, готовое к необязательной улыбке. Когда нужно было свернуть налево, я не сказала ему, но он повернул вместе со мною: наверное, подглядывал. И о ступеньке перед входом в «Камелию» я не стала предупреждать: он уверенно шагнул на нее и открыл глаза.

– Извините, – сказал. – Четыре часа утра.

– Вообще-то полдень.

– Конечно. Но иногда вот так идешь, идешь – и вдруг становится четыре утра, и ничего не поделать.

– Вы запомнили дорогу?

– Не то чтобы. Но попытаюсь в другой раз добраться сам. Увидимся вечером, на открытии?

– Открытие в восемь. Если у вас вдруг не случится полдень – увидимся.

И я пошла искать Оксану.

Внизу мне сказали, что Оксаны нет, вообще нет: вы извините, девушка, вот полный список: и наш, и административный корпус, и восемнадцатый. Нет, и не регистрировалась. Может, и ошибка, всякое бывает.

Оксана – человек фантастического и притом идиотского везения. И если я правильно понимаю ее сложные взаимоотношения с дорогим мирозданием, то сейчас она наверняка едет в такси, радуясь тому, что сбила цену до несущественной или вообще очаровала водителя до согласия на бесплатную поездку. А до этого ее рейс задержали на три или четыре часа. А зарегистрироваться она забыла – действительно, всякое бывает. Надо было бы взять куртку и пойти позвать кого-нибудь обедать.

На третьем этаже мы столкнулись с Димой Царицыным. Он показал почти полную бутылку «Старого Нектара» – и от обеда было решено отказаться. У меня в номере уже с утра завелась нечеловеческая гора фруктов, но гора-то завелась, а вода исчезла – и горячая, и холодная. А ротавирус, царствовавший в здешних местах, считался главной легендой писательского дома и был еще в предыдущие годы воспет во всех литературных жанрах, так что мы не стали есть невымытых фруктов, а просто напились. Нормально так, без изысков, но с удовольствием.

Было самое время по-быстрому вымыть голову и собираться на открытие симпозиума, но вода в кране так и не возникла, к тому же отключили электричество. Если отключили везде, то открытие грозило превратиться в грандиозную пьянку: без колонок, микрофонов, проектора и прочей аппаратуры официальная церемония была бессмысленна.

Внизу на парковке сработала сигнализация – сначала мне так показалось, но Царицын выругался и принялся трудно подниматься из низкого кресла.

– Почапали в подвал, – сказал он со вздохом. – Опять началось.

Сигнализация подвывала на двух навязчивых нотах.

– Что началось?

Царицын взглянул на меня недоуменно и пожал плечами. Вряд ли происходило непредвиденное. Наверняка я пропустила с утра объявление об учебной тревоге или чем-то в том роде.

Коридоры и лестницы были полны людей: люди спокойно и сосредоточенно направлялись вниз, не выражая лицами особенной тревоги или страха, так что я равнодушно спустилась по лестнице следом за Царицыным, также следом ошупью пробралась в узком подвальном коридоре, оглядела сидящих на деревянных ящиках при свете двух свечей в стеклянных банках, обнаружила среди них свободное место и села тоже. Было неудобно, но это вряд ли надолго. Искала глазами в полумраке знакомые лица, нашла только Огарькову в дальнем углу; вставать и подходить к ней было лень. Все было лень, даже думать. Даже спросить кого-нибудь, что, собственно происходит. Разглядывала руки свои при свечах, обнаружила круглый шрам на тыльной стороне левой ладони, похожий на след от ожога, потрогала пальцем – не больно. Надо меньше пить. Нет, определенно, надо меньше пить. И больше спать.

– Если что-то случилось, – сказала я Царицыну, – то надо было постучаться к Косинскому. Он в стельку, его девица с набережной едва не на себе унесла. Спит, небось, и не слышит.

– Да он не приехал.

– Я его видела.

– Не. Он сразу сказал, что не приедет. Я тоже сначала не хотел.

– И разговаривала!

– Пить надо меньше.

Окружающий гул – четыре десятка разных шепотов слышатся сплошным человеческим гулом – вдруг стал внятней: речь шла о том, что открытие сегодня наверняка отменят, но мы же не лыком шиты, мы все тут молодцы, так что сейчас поднимемся в номера, возьмем выпить, свечи возьмем – и все равно пойдем, и проведем открытие, и пусть все знают, что мы никого и ничего не боимся.

– Я боюсь вообще-то, – уныло пробормотал Царицын, – но выпить при свечах... Не могу отказаться.

Мы потянулись нестройной и медленной, но веселой колонной по улице Ленина. Вечер стоял теплый, но от моря нехорошо сквозило; в сумерках снова нерешительно взвыла, но вскоре умолкла сирена; мы один раз остановились хлебнуть коньяка с Огарьковой и другой раз с незнакомым дядькой, чье лицо я смутно помнила по прошлому сентябрю. Я немножко свалилась в куст и потеряла пакет со свечами. И вообще все потеряла: шлепала себе, шлепала вдоль по улице, следом за темными фигурами своих, за сиреновой курткой Огарьковой, совершенно не думая – где мы, как меня зовут, что случилось, куда мы идем и когда придем; и что вообще там будет.

Дом-Музей встретил нас музыкой издалека.

Сад при нем светился фонарями и зеленел, зажатая длинная тетка в вечернем платье старательно и очень плохо выпевала в микрофон печальный романс, по белым рубашкам и галстукам в толпе опознавалась местная администрация, к дверям Дома жались дети из школы искусств в расшитых пайетками костюмах, а Огарькова оказалась самой шустрой, опередила нас всех и уже сидела за столом регистрации с бокалом в одной руке и сигаретой в другой.

– Вот и свечи не понадобились, – сказала я с облегчением.

– Где тебя носило? – спросил Царицын, – ждем, понимаешь, ждем...

– Добрый вечер, – сказал из темноты мой недавний спутник, тот самый, что шел в «Камелию» с закрытыми глазами.

С другой стороны темноты выскочил вдруг Толя Киреенко, бородатый, прищуренный и веселый, и нацелил на нас объектив.

– Смотри какое дело, – обратился он к моему собеседнику, – ты опять не получился.

Тот вежливо взглянул на экранчик.

– Бывает.

– Смотри, Царицын нормальный. Катька нормальная. А ты в самом фокусе – но мутный какой-то... к тому же тебя три. У тебя прям это... диссоциативное расстройство физического тела.

– У меня джетлаг.

– А, – поскущел Киреенко, – тогда понятно. Ну, ты тогда много не пей, плохо станет.

– Не буду, – он проводил Киреенко взглядом и обернулся ко мне. – Знаете, нам сейчас действительно будет плохо. Вот от этого всего, – сцену тем временем покинул многословный грузный дядька в черном костюме, его место занял толстенный рыжий мальчик с аккордеоном, – пойдете отсюда?

Мы нашли убежище у самой воды: любимое мое кафе, обустроенное вокруг маленького пирса, никто не закрыл, как оказалось. Фейсбук – ненадежное место, сплошные фейки, так фейком оказалась и фотография опустевшего пирса.

– Как твоя кошка? – спросил он.

Ума не приложу, когда успела рассказать про кошку. Может, в том же фейсбуке дело? Может, мы друзья там и давно на «ты»?

– Хорошо. Соскучится только без меня.

– Бабушка выздоровела?

– Насколько можно в ее возрасте, – я за сегодня устала удивляться. И вообще устала. Больше всего хотелось придвинуться ближе и уткнуться головой в плечо ему, как родному, и сказать...

...А что я, собственно, могу сказать, кроме «как тебя зовут»? Ну, допустим, что-нибудь нейтральное, поддержать беседу...

– А ты как?

– Нормально. Слушай, я что-то совсем сплю. Посидим еще немного и пойдем, ладно?

– Почему Киреенко не может тебя сфотографировать?

– Издевается. Все он может. У нас с ним давняя история, помнишь?

– Помню, – соврала я.

Или не соврала.

Дело в том – дошло до меня сокрушительно и внезапно – что собеседник мой не мог, ну совершенно не мог сейчас сидеть напротив.

Но ведь сидел, и это было хорошо, так невозможно хорошо, что слезы у глаз и комок в горле.

– Как тебя сюда впустили?

– Диссоциативное расстройство гражданства, – сказал он совсем не весело. – Дела у вас, конечно, творятся...

– Дела, да...

Мы просидели молча еще минут десять, мой собеседник клевал носом, я складывала лягушку из салфетки – и вдруг поняла, что упустила момент, заблудилась, потерялась: вот только что помнила его имя – а вот уже и не помню... Даже не то что не помню – не могу знать, мы впервые встретились сегодня утром на набережной, в пятидесяти метрах отсюда, вон там, возле бетонных шаров, облицованных голубыми стекляшками.

Нет мне прощения, потерялась я и еще раз, теперь уже на самом деле, на темной дороге между Домом-Музеем и «Камелией». Здесь отстала, там засмотрелась на лиловый фонарь – и вдруг осталась одна.

Но погоревать вдоволь не успела: нагнал меня веселый Царицын и сказал магические слова «пять звездочек». И сказал слова еще более магические: Ксанка приехала, тебя ищет, бегают по этажам, матерится ужасно. Она тебе, говорит, подарок привезла тяжеленный. Воооот такая коробка. А еще, говорит, у нее книжка вышла, вот прямо в пятницу, послезавтра презентация в административном корпусе. А еще, говорит, кто-то идет за нами, чуешь? Я вот прямо по духам чую, что это Огарькова.

Я так соскучилась по Ксанке, что не утерпела и совершила предательство: взяла Огарькову под локоть и завязала с ней длинный разговор о своем, о девчочковом. У нее при себе тоже была заветная бутылка, так что от набережной до шлагбаума мы остановились

несколько раз, и путь оказался долгим. У шлагбаума под фонарем собрались прощаться и расходиться, фонарь опять не горел.

– Да мы все виноваты. И ты тоже, – сказала Огарькова чужим бесцветным голосом.

– Что ты за меня говоришь?

– То, что я некоторые вещи знаю лучше тебя. И если ты не знаешь, это не освобождает...

– Ир, подожди. Ты сюда как попала?

– Головина помнишь?

– Ну.

– Он мне приглашение выслал. Я приехала в Азов. А там сели в машину – и через тоннель.

– А документы?

– На пароме всех проверяют, а после тоннеля через одного. Бардак потому что.

– Хоть какая-то польза от бардака. А обратно как?

– Так же, с Головиным. Катька, давай возьмем все слова обратно. Мы пьяные. Не хватало еще нам разосраться. Вы с Ксанкой так и не помирились с тех пор?

– Не помирились. Давай.

Мы обнялись и разошлись.

Путь к «Камелии» был темен и печален. Я прошла мимо пустой будки охраны, уловила из зарослей оживленные голоса, но никого по голосу не опознала и отправилась дальше. Спать не хотелось, лечь было совсем тоскливо. Ксанка приехала, сказали. Нет здесь никакой Ксанки. Мы не разговариваем третий год. Переодеться, переобуться и обратно на набережную...

Переобуться, да. Надо меньше пить.

Я же все перепутала: не в прошлом и не в позапрошлом, а три года назад купила свои дурацкие босоножки. И как раз прошлым летом оставила на даче. А этим поехала и забрала. И подшила, и подклеила. И много чего еще подшила и подклеила из непригодного прежде.

Потому что дела у нас тут творятся.

Кто-то облюбовал комнату на первом этаже нежилого семнадцатого корпуса, в окне дрожал зыбкий и слабый оранжевый свет. Может быть, керосинка. Такие же слабые огни плавали в окнах «Камелии», значит, не было еще одиннадцати часов.

Электричество и воду дадут с одиннадцати до двенадцати, мне душ все равно не светит, до третьего этажа напор не тянет. Значит, переодеться, переобуться и на улицу. Или ткнуться к кому-нибудь в номер на звук, вдруг где сидят-разговаривают хорошей компанией...

[Купить полную версию книги](#)